

**Бродский Н. М.** Нюансы музыкальной Москвы — М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. — 200 с., ил. (Серия «Русское музыкальное зарубежье»)

Мемуары ученика А. Б. Гольденвейзера, пианиста Наума Бродского, эмигрировавшего из Советского Союза в конце 1970-х годов, буквально «взрывают» устоявшиеся представления о жизни музыкальной Москвы середины XX века.

*Официальная история СССР традиционно представляет это время как период небывалого расцвета культуры. Но какой ценой достигался этот расцвет, сколько изломанных судеб таит этот внешне безоблачный культурный пейзаж, — об этом и поныне принято говорить лишь намеками.*

*Пренебрегая подобной «традицией», Наум Бродский едва ли не впервые знакомит читателя с такими «нюансами» музыкальной политики, которые способны кардинально изменить отношение к событиям и персонажам, описанным в этой книге.*

*Я благодарен судьбе за то, что уже много лет назад мне довелось познакомиться и по-дружиться (несмотря на очень большую разницу в годах) с Наумом Марковичем Бродским — прекрасным пианистом, человеком феноменальной памяти, энциклопедических знаний в области музыки и замечательного чувства юмора.*

*Я с увлечением прочел книгу «Нюансы музыкальной Москвы» и уверен, что она будет интересна всем читателям, в особенности — людям моего поколения, которым (к сожалению или к счастью) не довелось стать свидетелями того, о чем рассказывает автор.*

**Евгений Кисин**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В Донбассе не было ни одного мало-мальски интересующегося музыкальным искусством человека, который бы не знал имя Наума Бродского. Его титул был — Пианист Бродский. Он не был обласкан властью предержащими. Его обошли званиями и наградами. Но Пианист Бродский в них и не нуждался. Лучшей наградой ему был полный зал поклонников.

С первых дней своего появления в Донецке (тогда Сталине) Наум Маркович мощно заявил о себе как пианист, педагог, а несколько позднее и как органист. Его концерты носили просветительский характер, «беседы у рояля» были отточены до блеска. Оригинальность мышления, информация, интересная слушателю любой подготовленности, — вот то, что присутствовало на аншлагах Пианиста Бродского. Он — вне всякого сомнения — Личность, Мастер с разносторонними интересами, взглядами, может быть, даже провидца.

Пусть Наум Бродский расскажет в книге о своих учителях, друзьях, вспомнит виденное. Я же представлю читателю самого Бродского. Мне довелось учиться у Наума Марковича с 1964 по 1968 годы в Донецком музыкальном училище и общаться с ним по сей день. В каком бы настроении ни был наш милый Нюма (именно так мы его называли), оно никак не отражалось на учениках. Он мог «встать на колени» перед хорошо сыгранной фразой и выставить из класса за невыученную пьесу. Он был абсолютно искренен всегда и всюду, всегда и во всем. Этому он учил и нас.

Музыкант огромного кругозора, он не только учил, но и сам готов был постоянно учиться, совершенствоваться в профессии, мастерстве. Только спустя годы я понимаю, как мало взял от Учителя, что нужно было больше прижиматься к его интеллекту, питаясь и насыщаясь Знанием.

Казалось, его знали все и он знал всех. Гастролирующему в Донецке музыканту было неприлично, отыграв концерт, не появиться в доме Бродского. Это был ритуал, так осуществлялась связь во времени мощной гильдии музыкантов Союза.

Наум Маркович одним из первых понял, почувствовал не востребованность своей профессии, наметившуюся национальную «возню», не смог их перенести в Союзе и избрал путь эмиграции. Пути Господни неисповедимы! Так стало. А кик стало, читатель узнает из предисловия дочери большого друга детства Наума Марковича, выдающегося скрипача Бориса (Буси) Гольдштейна, и от самого пианиста.

Мне выпала честь способствовать изданию книги в Украине, представить ее читателю нашей страны и пожелать нашему дорогому Учителю долгих лет жизни, хорошего

самочувствия и творческих удач.

*Сергей Черкезишвили. 1993*

О Науме Марковиче Бродском я слышала в детстве из разговоров в семье, а познакомилась с ним, когда он приехал в Германию. После выезда из Союза Наум Маркович и папа были в переписке. Говорить об устройстве здесь было сложно. В Германии все начинается с возраста, особенно для иностранцев. Науму Марковичу тогда было 58 лет. Папа ему писал: «Приезжай в гости, но будь в пианистической форме». Папе удалось договориться о возможности работы на полставки. Но вскоре выяснилось, что работа может быть только временной, так как недавно вышел закон, запрещающий иностранцам постоянную работу в стране.

И даже в этой ситуации мы в семье не переставали удивляться необыкновенным трудолюбию и энергии, с которыми Наум Маркович работал как педагог и занимался на фортепиано на случай концерта. После одного из таких концертов в небольшом городе Ратцебурге в артистическую пришли люди из местной администрации и предложили у них работать, с обещанием уладить его проблемы. Для Наума Марковича это означало прежде всего получить право жить и работать в стране. Ему предоставили квартиру с мебелью и инструментом, за которую в течение года плата была чисто символическая.

Пригласившие его вскоре убедились в правильности такого решения, так как его ученики начали получать призы на юношеских конкурсах.

К Науму Марковичу приехала семья, и он смог же в нормальной обстановке более плодотворно работать, часто выступать с концертами. Критика на эти концерты была отличной.

Наум Маркович записал две пластинки. Одна из них - «Мусоргский — Моцарт», на другой — произведения Листа.

Их появление было по достоинству отмечено в престижном общегерманском журнале *Fono Forum* и аналитической статье в газете *Lubeker Nachrichten*. Листовская пластинка вызвала особый интерес в Обществе Листа в Будапеште. Я не могу не привести фрагмента из письма Науму Марковичу Бродскому от генерального секретаря Общества Листа Миклоша Фораи: «Ваша интерпретация — воплощение богатой фантазии артиста, одаренной личности. Изложение содержания, формы в сочетании с блестящей техникой представляют единое целое. Отдельные места нетрадиционного исполнения убедительны и звучат свежо». Такой отзыв для музыканта-исполнителя является высшей оценкой.

Сейчас Науму Марковичу 71 год. Но его талант и энергия делают свое доброе дело. Он по-прежнему активен как педагог, дает уроки, играет сам. Среди его учеников — дети, любители музыки, педагоги фортепиано, конкурсанты. Мне хочется от имени нашей семьи пожелать Науму Марковичу здоровья и долгой творческой жизни.

*Юлия Гольдштейн-Манц 1991*

## ОТ АВТОРА

Эта книга написана мною в дни существования СССР, в то время, когда я жил на Украине\*. Политическая ситуация была такова, что я не видел будущего для моих детей. В те времена желание эмигрировать рассматривали как вызов, брошенный властям. Наконец, преодолев всевозможные препятствия и напряжения, я выехал в Израиль. И уже там понял, что психологически не подготовил себя к резкой смене основ жизни.

Я был одинок, и меня не понимали. При этом во мне все было заполнено желанием говорить по-русски и слушать родную русскую речь. Сегодня в Израиле люди общаются на основе общих интересов. Там есть обширная русская печать и телевидение из Москвы. И шутят, что «скоро в Израиле иврит станет вторым государственным языком после русского».

Для людей старшего поколения, оставивших Россию в семидесятих годах, тема

---

\* Данная публикация — переработанный вариант издания: *Бродский Н.* Нюансы музыкальной Москвы. Иерусалим, 1991 (примеч. ред.)

эмиграции была, есть и останется главной. Выяснилось, что родной язык обладает большой притягательной силой. Без него невозможно жить. Часто между собой общаются люди с разным мировоззрением и культурным уровнем. В России они могли бы оказаться вместе только в метро или в троллейбусе, здесь же они сообща проводят досуг. Но такое общение — не для души, оно случайно, как на вокзале. Вместе с тем, эмиграционный шок, новые эмоции, новые проблемы отдалили тех, кто в прошлом был близок. Мы ищем друзей, людей своего круга. С ними вспоминаем прошлое. Я — музыкант; мое прошлое — музыка и связанные с ней люди. Эпизоды войны. Забавные жизненные истории. К ним прибавились и эмигрантские. В моем возрасте есть что вспомнить. Я рассказываю, а мне говорят иногда: «Вы должны написать». Смешно. Сказали бы еще: «Вы должны спеть...»

И вот по «Голосу Америки» я услышал чтение книги Ю. Елагина «Укрощение искусств». Перед каждой передачей читалось предисловие автора. Цитирую по памяти: «У меня была одна цель: быть как можно правдивее». Это удивило. Нормальный человек правдив без всяких целей. Началось чтение второй части книги: «Музыкальная Москва с тридцатого по сороковой год». При фразе: «Профессора консерватории были люди порядочные и говорили только то, что думали, кроме Гольденвейзера», — я вздрогнул. Никаких подтверждений не последовало. В конце воспоминаний автор просто высмеял А. Б. Гольденвейзера. Для меня это был удар. Я не мог и не смогу с этим смириться.

Казалось бы, зачем горячиться? Ведь мемуаров так много, и каждый пишет, что и как хочет. Но если написанное с помпой выходит в эфир на всю страну, где жаждут слова правды (это было в середине восьмидесятых, после снятия глушения), значит, слушают миллионы. И слово становится похожим на приговор.

Своего учителя Александра Борисовича Гольденвейзера я знал с 1934 года. Он, *как никто другой* в Московской консерватории, говорил только то, что думал. Гольденвейзер постоянно отстаивал интересы консерватории. К нему всегда обращались разные по возрасту и положению люди с просьбой что-то отстоять, поддержать или помочь. Он никогда никому не отказывал. Он все делал для других и ничего для себя. В консерватории и вне ее его авторитет был непререкаем.

Вторая часть книги «Укрощение искусств» была написана в США, еще при жизни Сталина. Много воды утекло. Много изменилось. Сегодня есть документы, доказывающее обратное тому, что излагал автор. В отношении А. Б. Гольденвейзера это недавно вышедшие в Париже книги известного русского философа Льва Шестова и талантливого пианиста Дмитрия Паперно; материалы, изданные в СССР.

Что же касается упомянутого в воспоминаниях конкурса имени Шопена в Варшаве, то опубликованные теперь отдельной книгой итоги и пресса этих конкурсов, мягко говоря, ни с какой стороны не совпадают с тем, что писал о конкурсе автор.

Униженные в книге с профессиональной стороны дирижеры сегодня представлены пластинками и другими записями исполнений. Один из них в недавно опубликованной книге «Кирилл Кондрашин рассказывает» назван великим. Взыскательность выдающегося дирижера Кондрашина общеизвестна. Это далеко от уничижительных оценок Ю. Елагина.

И в заключение. Как поклонник яркого дарования Мстислава Ростроповича, я был очень огорчен его выступлением в этой передаче, особенно словами: «Все должны прочесть эту книгу». Невольно напрашивается вопрос: сколько лет было Ростроповичу между тридцатыми и сороковыми годами — годами описываемых событий? С другой стороны, следовало ли ему рекламировать книгу, унижающую уважаемых музыкантов ушедшего поколения? Я хотел написать только о Гольденвейзере, но воспоминаний оказалось много. Они настойчиво требовали выхода. Так возникла моя книга.

В процессе работы над книгой я избегал указания имен отдельных лиц. Объяснялось это просто: не пришло время. Прошло более двадцати лет, и теперь, возвращаясь к мною написанному, я понимаю — время пришло. Сегодня я обязан назвать имена. Более того, сегодня я могу рассказать больше.

Я родился в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). В типичном южном городе, веселом, шумном. Достопримечательностью была в нем центральная улица-проспект, с очень широкими тротуарами, двумя мостовыми и двумя бульварами. Летом они превращались в зеленые туннели, и между ними ходил трамвай. Улица круто поднималась вверх, и зрелище было необычайно красивое.

Первые впечатления моего детства – чудо: НЭП. Но оценили его позже, когда оно уже исчезло. Сегодня я живу в ФРГ, стране экономического благополучия, и не перестаю восхищаться. Но все же НЭП представляется мне ярче. Было больше фантазии. На витринах самой большой кондитерской выставлялись огромные торты, не просто торты – художественные произведения: «Дети, кормящие птиц», сцена «У колодца», ежедневно что-то новое. Были кондитеры-художники.

В 1926 году мы с мамой были в городе-курорте Евпатории. Уже на вокзале вам предлагали комнату. Вы шли по городу, и до вас доносились ароматы вкуснейшей еды. Прямо во дворах стояли нехитрые столы под навесами, и вас зазывали обедать. На пляже татарские мальчишки разносили восточные сладости, холодную воду и наше будущее знамя, с которым мы под руководством нашего Никиты Сергеевича устремились догонять и перегонять... – горячую кукурузу. Тогда она называлась пшенка. Мальчишки кричали: «Пшенка! Маладой гарачий пшенка!»

О покое нечего было и думать. На пляже стояло множество лодок — весельных, парусных — и две яхты: «Атлантида» и «Новелла». Подходили лодочники, приглашали вас позагорать в море. До поздней ночи гуляли по улицам веселые, беспечные люди! Из ресторанов доносилась музыка. Разносчики предлагали то одно, то другое. А магазины и ларьки были открыты допоздна. Таков был НЭП.

Но ничто не вечно под луною. Началось развернутое наступление на кулака. И в 1929 году в Евпатории я уже стоял в очереди за хлебом. Его давали по карточкам: кусок черного и поменьше — белого. Фрукты и овощи покупали тайком у татар. На пляже абсолютная тишина. Никакой торговли... никаких лодок... А над загорающими задами возвышался грозный милиционер в полной форме с наганом и не допускал никаких отклонений от идеалов революции.

Примерно в 1928 году НЭП был ликвидирован, запрещена частная торговля, причем людей облагали нереальными налогами. Выплатить их было невозможно. У облагаемых отбирали дома, квартиры, имущество, лишали права голоса, сажали в тюрьму. Их называли лишенцами или нэпманами.

Продуктов становилось все меньше и меньше. Была введена карточная система на продовольствие и все остальное. В Днепропетровске (думаю, и в других городах) нормы отпускаемых продуктов шли под буквами: «А», «Б», «В», «Г». Самая высокая — под буквой «А» — для рабочих горячих цехов. Норма «Б», значительно уступавшая по качеству и количеству, — остальным рабочим. Под буквой «В» (основательно меньше) получали служащие. Самая мизерная норма шла под буквой «Г» — для кустарей и прочих малозначительных трудящихся. В итоге бытовал анекдот: «А» — аристократы, «Б» — бюрократы, «В» — вредители (модное тогда слово), а «Г» — говно. Возможно, таково было начало «исторического» утверждения четвертой буквы русского алфавита, как определяющей качества.

Лишенцев, нэпманов на работу не брали, продовольственных карточек им не давали, их детей изгоняли из учебных заведений. В местных газетах стали появляться письма, в которых дети отказывались от родителей-нэпманов, враждебных революции. Этим они покупали себе право учиться.

В города хлынул народ из деревень. Улицы и особенно базары были наводнены грязными, в рванье беспризорными от десяти до пятнадцати лет. Они попрошайничали, не гнушались и мелким воровством. Электричество было отключено, дома не отапливались. Не было мыла и горячей воды. Начал свирепствовать тиф: сыпной и брюшной.

Людей охватили уныние, злость и отчаяние. Естественно, весь революционный энтузиазм населения переместился в другое место. А украшавшее уборные народно-революционное

творчество:

*Для царя кабинет,  
Для царицы спальня,  
Для Распутина буфет,  
А для рабочих сральня*

стало исчезать.

Нормы отпускаемых по карточкам продуктов уменьшались. Люди голодали. Еще недавно оживленный город даже днем выглядел пустынно. Лишь руки молящих и плачущих людей. Да беспрестанный стук в дверь и слова: «Кусочек хлеба...»

Это происходило в Днепропетровске и осталось в памяти как голод на Украине.

Умный, энергичный человек, мой отец был хорошим музыкантом. В оркестрах он играл на тромбоне, но практически знал все духовые инструменты. Ему предложили работать вольнонаемным капельмейстером 2-го отдельного конвойного батальона, охранявшего тюрьму. В те годы она называлась ДОПР [Дом предварительного заключения]. В самой тюрьме уже был духовой оркестр, организованный из заключенных моим отцом. Конвойный батальон тоже имел право на оркестр, но только из воспитанников. Его-то и предложили создать моему отцу. Он пошел на «Озерку» — центральный базар Днепропетровска, где все кишело беспризорниками, и оттуда приволок около двадцати мальчишек. Они прошли санитарную обработку, облачились в военную форму, и через два месяца этот оркестрик играл два марша и «Интернационал». С оркестриком было легко и просто. Он состоял не из уголовников, а из детей с трагической судьбой. В нашей семье появился военный паек. Мы ожили.

В самый разгар голода в Днепропетровске и, естественно, в других городах свирепствовала эпидемия, названная ее жертвами «золотуха». Она, правда, касалась не детей, а в основном мужчин всех возрастов. Поздней ночью «доблестные стражи закона» из ГПУ (сейчас КГБ) уводили из дома намеченную жертву и помещали ее в смрадную, душную камеру. Требовалось немного — отдать все сбережения: и давние, и новые. Валюту, то есть старые золотые монеты пяти- и десятирублевого достоинства, массивные золотые кольца и так далее. «Мелочи» вроде брошек, сережек, колечек их не интересовали.

От обыкновенного ограбления это отличалось тем, что бандиты без лишних слов отбирали наличное. Здесь же вас убеждали отдать все «добровольно». В Днепропетровске была своя система «убеждения». Я знаю о ней по рассказам деда, отца матери, которого брали два раза. Новичков в камере не трогали. Хорошо кормили. А примерно через неделю вызывали к следователю. Он сразу начинал кричать: «Мы строим социализм, нам нужно золото. Оно гниет у вас, отдайте и будете дома, а нет — сгниете тут сами».

Если подобное объяснение не действовало, то вас возвращали в камеру. Начиналась «воспитательная» работа. Ее проводили так называемые активисты из числа арестованных. В ход шли побои и пытки. Для тех, кто не сдавался, существовали две камеры. Одну из них, где резко худели, арестованные называли «Кавказ», другую, где опухали, — «Крым». За «помощь» активистам обещали не трогать их сбережения. Действительно, по выполнении задания их выпускали. А затем почти всех брали снова. При повторных арестах активисты сидели на общих основаниях.

Если не ошибаюсь, «золотая лихорадка» чекистов длилась около года или чуть больше. Арестованных преступниками не считали. Никаких судимостей и прочих изъянов в их досье не значилось. Никакого произвола. Закон есть закон.

В конце 1935 года карточная система была отменена. В магазинах появились основные продукты питания. Начали отапливать дома. Ушла страшная проблема: как накормить детей. Исчезли беспризорные — свидетельство пережитого кошмара, трагедии страны. Ничто не может быть страшнее миллионов детей, оставшихся без родителей. Становилось легче, и товарищ Сталин сказал: «Жит стало лучше, товарищи. Жит стало веселей». Многие думали, что страдания были неизбежны. Ведь в истории человечества появилась новая формация. После заявления «отца всех народов» везде и всюду рядом с вечным: «Выполним пятилетку в четыре года», — красовались слова: «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь».

Сталин понимал, что террор лучше проводить на сытый желудок.

## **ДМИТРОВСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ**

В 1934 году основой существования была карточная система. Кроме продуктов питания она охватывала промышленные товары. Однако голод начал спадать.

Отец продолжал работать капельмейстером, и это позволило мне поехать в Москву. Я мечтал заниматься у А. Б. Гольденвейзера. В конце августа я уже жил в Дмитровском общежитии — старом трехэтажном доме с пристроенной к нему пятиэтажной коробкой. В каждой комнате находилось от четырех до шести студентов. Было и пианино. В подвале стоял титан, и с шести вечера начиналось хождение за кипятком. По выходным дням в красном уголке проходили литературные вечера или шахматные турниры. Тогда слово «воскресенье» не произносилось. Каждый шестой день был выходным. Это называлось «шестидневка». Раньше были пятидневки. Так сочетались пропаганда «гуманизма» новой эпохи и борьба с пережитками прошлого, к которым относилось и слово «воскресенье».

В те далекие времена любой мог договориться с месткомом о концерте для института, фабрики и т. д. Оплата по соглашению. Как правило, организаторами таких концертов были молодые предприимчивые актеры. Часто в Москве и особенно в пригородах молодые актеры и студенты консерватории устраивали неплохие концерты. Многие давали частные уроки, а студенты-хормейстеры руководили хорами при клубах. Подрабатывали весьма прилично.

На втором этаже общежития жили «пробивные» мамы и их талантливые дети. Самыми колоритными были семья Майстер и мать Розы Тамаркиной, необычайно одаренной пианистки. На конкурсе в Варшаве один из выдающихся учеников Листа, великий Эмиль Зауэр, назвал ее лучшей пианисткой мира. Тогда ей было всего шестнадцать лет. Когда Роза играла, движения ее рук напоминали балерину в «Лебеде» Сен-Санса, а пальцы как бы говорили, пели. В ее игре сочетались женственность и мужество, глубокая лирика и яркий темперамент. К тому же она была красавицей. Боже! Сколько людей в нее насмерть влюблялись.

Но Роза Тамаркина любила только двоих: в детстве Арнольда Каплана и позже Яшу Флиера. Умерла она в возрасте тридцати лет. Однажды мы встретились на улице, и она сказала: «Я готова быть уборщицей, но только бы жить!» Невозможно забыть ее похороны. Панихида состоялась в Большом зале консерватории. И в гробу Роза оставалась красивой. Когда виолончелист Боря Реентович начал: «Умерла Розочка Тамаркина...», все присутствующие громко зарыдали. Казалось, все остановилось...

Иосиф Майстер появился в Москве в возрасте восьми-девяти лет. Он приехал из Бобруйска, волоча на прицепе семью простых местечковых евреев. Тогда они еще встречались. Йося был невероятно маленького роста. Когда он выходил на эстраду Большого зала, публика приподнималась, дабы разглядеть, кто же там появился. По залу пробегал смех. Но после вступительных аккордов фортепиано все преображалось. На эстраде стоял увлеченный виртуоз.

Величайшие скрипачи своего времени — М. Полякин, Ж. Тибо, И. Сигети — прослушивали его в разное время. Они были в восторге. Полякин сказал отцу Йоси: «Пусть он играет лишь то, что любит». Так сказать может только большой артист, ибо в применении к таланту это — мудрость.

Сигети подарил Йосе свой портрет с надписью: «Твое имя — твое будущее». Увы, пророчество Сигети не оправдалось. Война, потеря родителей, антисемитизм... Иосиф погиб как скрипач и как человек. Но в те времена предугадать это было невозможно.

Мне вспоминается смешной эпизод, связанный с получением Майстерами квартиры. Поменять общежитие на свою квартиру хочет каждый, но не каждому это удастся. Какой-то шанс имеется у тех, кто выступит на сцене Большого театра в присутствии Сталина.

Идет репетиция. Йося уже освободился. К нему, при многочисленной свите, подходит одна из секретарей МК партии по фамилии Каган (в тридцатые годы еврейская дама могла выступать в такой роли) и говорит: «Мальчик, какой ты бледный. Ты, наверно, мало гуляешь».

У участника концерта перед Сталиным в голове не только исполняемое произведение, но

и составленный заранее «квартирный» текст. И вдруг неожиданно возник вариант с гулянием. Йося мгновенно, буквально на одном дыхании выпалил: «Я гуляю, я много гуляю, я только гуляю. Мы живем в общежитии, у нас малюсенькая комната, папа с мамой спят на кровати, я сплю на раскладушке, брат Рахмил на полу, сестра на рояле, у нас нет воздуха, мы за...» Он не договорил, громовой хохот оборвал его речь. Через несколько дней Майстеры переехали в трехкомнатную квартиру в новом доме. А спустя две недели в газете «Известия» под рубрикой «Происшествия» сообщалось, что с четвертого этажа упала четырехлетняя Роза Майстер. Но дом был с карнизами. Они смягчили удар, и девочка отделалась только испугом.

Убийство Кирова 1 декабря 1934 года всполошило Москву. Живший в общежитии пианист П. пошел в ГПУ и заявил, что Кирова убил он. Ему поверили. Когда же окончательно «выяснилось», что убийцей является Николаев, П. возвратился в общежитие. Но ночь он провел в ГПУ.

Жил в общежитии студент-хормейстер М. Основной его заботой были наряды по последней моде. Костюмы он носил только сшитые на заказ. Задолжав деньги портному, он написал на него донос. Портной исчез... Приближался 1937 год...

### **АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР**

Память о Гольденвейзере, Старике, как мы его называли, для меня священна. Поэтому я обязан описать конкретные события, свидетелями которых был я и десятки, а возможно, и больше людей, живущих по сей день в России или эмиграции.

Из всех музыкантов времен сталинизма самым мужественным, самым прямым был А. Б. Гольденвейзер. У людей старшего поколения осталась стенограмма знаменитого совещания у Жданова — позорный документ, позднее «исчезнувший» из библиотек СССР. В нем — вступительная директивная речь Жданова с призывом создавать «мелодичную, изящную» музыку и выступления издерганных, измученных, перепуганных людей. Исключение составлял лишь А. Б. Гольденвейзер. В качестве примера современной музыки он назвал последние сонаты Скрябина. Говорил об их достоинствах, гордился, что первый исполнял их. И это — после речи Жданова! Есть ли больший антипод музыке «мелодичной, изящной»? Притом Гольденвейзер полностью разделял взгляды Сергея Рахманинова. Он не увлекался современной музыкой и не скрывал этого. Однако в его классе звучали Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и другие композиторы. Речь Гольденвейзера на совещании Жданов или не понял, или проглотил.

Старик никогда не заигрывал с властями. На похоронах К. Н. Игумнова он стоял с влажными глазами, как бы — *уйдя* в себя, и крестился. Замечательный пианист, ученик Игумнова Наум Штаркман рассказал мне, что из тюрьмы его вытащил Гольденвейзер, хотя к нему никто не обращался за помощью. Но Старик добился своего.

А вот смешной эпизод, дополняющий образ Гольденвейзера. Учился у нас на факультете чудаковатый студент К. На одном из важных собраний фортепианного факультета консерватории в присутствии всех пианистических знаменитостей и какого-то пришлого начальства, когда утвердили повестку дня и председатель открыл было рот, К. встал и громко, четко сказал: «Товарищи, предлагаю почтить вставанием память одного из ближайших соратников товарища Сталина, лучшего друга и наставника музыкантов Андрея Александровича Жданова». И все мгновенно, как по команде, молча поднялись. Когда сели и председатель собрался начинать, К. снова поднялся и так же громко и четко произнес: «Товарищи, предлагаю почтить вставанием память руководителя московских большевиков, одного из ближайших соратников товарища Сталина товарища Щербакова». У присутствующих не то шок, не то замешательство. Одни поднялись, другие сделали вид, что сейчас поднимутся, но чего-то ждут... Всем ясно: если парня не остановить, дело дойдет до декабристов. Но как? Ведь Сталин жив, и кто предугадает последствия?

Все словно воды в рот набрали. Напряженная тишина... И вдруг послышался писк Гольденвейзера: «Я не понимаю, что происходит?» Сидящий рядом с ним Григорий Гинзбург ответил: «Здесь не спрашивают». Эти слова как бы вывели всех из состояния оцепенения. На парня зашикали, чтобы он умолк. Счастливый председатель сказал: «Приступим к повестке

дня». Никто даже не улыбнулся. До смеха ли, когда господствует страх? Смеялись после собрания. К слову, когда Гольденвейзер бывал раздражен, его голос поднимался почти до писка.

Не помню, перед войной или после, в Риме проходил международный толстовский конгресс. Гольденвейзер был ближайшим другом Толстого. Он подписал его завещание. Он не отходил от умиравшего на станции Астапово Толстого и до последней минуты держал его за руку. Кому, как не ему, следовало бы возглавить советскую делегацию. Но Гольденвейзер наотрез отказался ехать в Рим. На него было оказано большое, очень большое давление. Но не было силы, способной сломить его сопротивление. Он бы охотнее принял смерть, чем стал бы говорить об «ошибках» Толстого, чьи взгляды не соответствовали революционным и постреволюционным настроениям.

Главная заслуга Гольденвейзера — спасение Московской консерватории. Огромный, я бы сказал, исторический подвиг.

Однажды утром мы увидели в газете проект нового здания Московской консерватории на Ново-Арбатской улице. А старое здание на улице Герцена было решено снести. Тогда была мода сносить. Один Бог знает, сколько ценных архитектурных сооружений исчезло по всей стране. Пришел черед консерватории. Газеты пестрели «письмами трудящихся» с благодарностью «за развитие», «только в нашей стране» и т. д. Выражали благодарность и некоторые деятели искусств. Эта «забота» партии и «самого мудрого, великого» глубокой болью отозвалась в сердцах музыкантов, и особенно консерваторцев.

Начались хождения к Старику. Он сам заметно осунулся. Необходимо было принимать срочные меры. Поток писем «трудящихся» не иссякал. Каждый упущенный день мог оказаться роковым. Надежда была только на Гольденвейзера. И он пошел на самый верх с прошением отменить очередную милость. Мне рассказывали, что когда он благополучно возвратился, его сестра прослезилась.

Старик запросил приема у Молотова. Молотов направил его к Жданову. И консерватория была спасена. «Трудящиеся», как по команде, перестали писать благодарственные письма, а консерваторцы от мала до велика облегченно вздохнули. Самые черные дни гонений и травли ученых, литераторов, музыкантов и других так называемых «работников идеологического фронта» пришлось на послевоенные годы. Механизм был прост. Сверху спускались имена жертв, а партийные организации на местах проводили открытое собрание с обязательным присутствием всех и заранее распределяли роли основного громилы и подпевал. Иногда, в порядке личной инициативы, выступали всякие карьеристы-подхалимы. Не было случая, чтобы на таком собрании кто-то встал на защиту избиваемого, — таково общее мнение. Но такой случай был. О нем свидетельствует Д. Папернов своей книге «Записки московского музыканта».

Перескажу коротко. Мутная волна докатилась до Московской консерватории. Выгнали выдающегося музыковеда, профессора Л. А. Мазеля. За ним И. Я. Рыжкина, В. Д. Копен, Б. В. Левику — всех не упомянуть. Наконец, на показательную экзекуцию собрали пианистов, то есть фортепианный факультет. По заранее подготовленному сценарию на трибуну поднялся «громила». Это был некий Симонов, профессионально — абсолютное ничтожество. Тогда они один за другим процветали на ниве искусств и вершили судьбами людей, были проводниками сталинской партийной линии. Симонов обрушился на старейшего, уважаемого профессора Марию Соломоновну Неменову-Лунц. В студенческие годы она была лучшей ученицей и близким другом Александра Скрябина. Талантливая пианистка (ее имя значится на «Золотой доске» в Малом зале консерватории), она до войны довольно часто выступала на радио. У нее была типично русская внешность, а говорила она с красивым старым московским акцентом. Культуре ее речи мог позавидовать каждый. На студенческих капустниках она иногда рассказывала с эстрады остроумные, смешные прибаутки, которые сопровождались хохотом всего зала. Далеко не все знали, что эти прибаутки сочинялись ею. За всю свою жизнь (а мне уже семьдесят три) я не встречал женщины более блестящего ума, чем Неменова-Лунц. Естественно, что в пору торжества творческих ничтожеств и откровенных бездарностей ей, да еще при отчестве Соломоновна, не было места. Кроме Марии Соломоновны были намечены



еще три жертвы. Подготовленные «громилы» ждали своего выхода. Но после Симонова поднялся на трибуну Гольденвейзер. Сказал возмущенно: «Слушая Симонова, я потерял 15 минут...» — и в заключение назвал его «сплетником».

Гром аплодисментов сотряс зал. Очередные «громилы» поджали хвосты. Сценарий провалился. Но Старик знал, что спектакль не окончен, и пошел в Комитет по делам искусств. Как ни парадоксально, сила Гольденвейзера таилась в самой природе Советской власти. Известно, что Сталин по-хамски разговаривал со своими подчиненными, всячески унижал их. Его так называемые соратники в подражание хозяину так же вели себя с министрами и другими руководителями. Но это не распространялось на видных деятелей искусств. Их принимали без хамства, с уважением. Вот типичный пример. Когда Сталин после прослушивания гимнов приказал повесить, и очень существенно, зарплату оркестру Большого театра, возник вопрос о других равноценных оркестрах. После скандала с оперой Мурадели «Великая дружба» главным дирижером Большого театра был назначен Н. С. Голованов, кажется, самим Сталиным. При этом он оставался руководителем Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. Желая повесить зарплату оркестру, он обратился к председателю Комитета Всесоюзного радиовещания товарищу Месяцеву. Решили идти к Маленкову, второму человеку после Сталина (до войны им был Молотов).

Голованов пригласил И. С. Козловского — для подкрепления. Тот охотно согласился. И вот появились они в приемной Маленкова. Выходит секретарь и говорит: «Георгий Максимилианович приглашает товарищей Голованова и Козловского пройти в кабинет, а Месяцев пусть идет работать». Обычная партийная оплеуха вышестоящего подчиненному.

Итак, Гольденвейзер пошел в Комитет по делам искусств. Он сказал им: «Или вы обещаете не трогать людей, или я пойду выше». Там знали, что Гольденвейзера в верхах примут и выслушают, а им плюнут в физиономию. Поэтому его слова сработали.

В те годы запретили исполнять произведения замечательного русского композитора Николая Метнера, и Гольденвейзер обратился в ЦК партии, чтобы добиться отмены этого запрета. Кажется, это был единственный случай, когда он ушел ни с чем.

В то же время стали исполнять произведения запрещенного в тридцатые годы эмигранта Рахманинова. Советская пропаганда любит мертвых. Мертвые молчат. О каждом из них спокойно можно писать: «Хотя допускал отдельные ошибки, но...» В Союзе не раз печатались мемуары Федора Шаляпина, только в них никогда не входила глава «Под большевиками». Ее как раз и отнесли к разряду «допущенных ошибок». А Метнер еще был жив. Он умер в 1951 году.

В годы так называемой оттепели запрет на произведения Метнера был снят. Эмиль Гилельс сразу же записал на пластинку одну из его сонат. Стали выпускать на зарубежные гастроли ведущих исполнителей, но с сопровождением. Святослава Рихтера сопровождал директор Московской филармонии Белоцерковский, а Гилельса — другой начальник, с дипломом Московской консерватории, некто В. Приходят они в Лондоне к вдове Метнера, чтобы подарить пластинку с записью сонаты ее мужа. Звучит фортепиано, и В. умиленно говорит: «Какая гениальная музыка!» Он, бедняга, думал, что соната занимает всю пластинку, и поставил сторону, на которой была Соната Бетховена до мажор ор. 2. Этот вершитель судеб музыки и музыкантов не смог отличить раннего Бетховена от Метнера...

Гольденвейзер действительно был незаурядной личностью. Женился он на Анне Алексеевне Софиано, дочери генерала царской армии, которую беззаветно любил всю жизнь. В конце двадцатых или начале тридцатых годов она умерла. Ученики старшего поколения, присутствовавшие на отпевании в церкви, рассказывали, что А. Б. был неузнаваем. После смерти жены он прожил более тридцати лет. Каждую неделю он приезжал на ее могилу (рядом было приготовлено место и для него). Все знали, что посещение могилы жены — часть его жизни, как работа, сон или еда. Кстати, как толстовец, он никогда не ел мяса. Самыми дорогими людьми стали для него сестры покойной жены. Веру — дочку одной из них, оставшейся без мужа, он официально удочерил. Был у него и приемный сын, великий пианист Григорий Гинзбург, который воспитывался в семье Гольденвейзера с шести лет. Своих детей у Анны Алексеевны и Александра Борисовича не было.

Одна из сестер Анны Алексеевны вышла замуж за физика Д. Сахарова, по учебнику которого мое поколение изучало в школе физику. Они были родителями будущего академика Андрея Сахарова, чьим крестным отцом стал Гольденвейзер. Об этом я узнал уже здесь, из выступления по радио писателя Льва Копелева, близкого друга покойного академика.

В общении с людьми Гольденвейзер был прост, благожелателен и остроумен. До войны была очень популярна солистка Большого театра Валерия Барсова. Ее муж, появляясь в учреждениях, представлялся; «Я — муж Барсовой». Гольденвейзер спросил как-то: «А что он днем делает?»

После революции Александр Борисович несколько раз был ректором и проректором консерватории. В конце двадцатых годов имена старых большевиков присваивали всему, что попадалось под руку. Консерваторию переименовали в Высшую музыкальную школу имени Феликса Кона. Никакого отношения к музыке Кон не имел. Но он был большевиком. Когда Гольденвейзеру предложили стать проректором этой школы, он ответил: «Я проректором конской школы не буду». И консерватория снова стала консерваторией. И еще одна важная подробность: он никогда не бывал скучным. Я был свидетелем, как он с честью выдержал сравнение с Григорием Коганом. В 1939 или 1940 году оба были оппонентами диссертации о Листе, Обоим предстояло выступление минут на пятнадцать-двадцать. За Коганом утвердилось слава блестящего лектора. Я сидел, переживал, нервничал, не представляя, как будет выглядеть Старик рядом с Коганом. Но вот он заговорил, и тревога исчезла. Все с интересом слушали. Самым скучным оказался диссертант.

Гольденвейзер не пропускал ни одной новой программы цирка, посещал стадионы, прекрасно играл в шахматы. На этой почве и завязалась его дружба с Толстым, Толстой любил шахматы. Старик рассказывал, что вначале он держал в кармане карандаш и бумагу и умудрялся записывать ходы Толстого, но тот заметил и воспротивился. Часто Гольденвейзер играл в шахматы с Ойстрахом и Прокофьевым. К слову, в 1936 году проходил матч «Ойстрах — Прокофьев». Вход был платный, и сборы шли в пользу Дома работников искусств, где и проходил матч (к сожалению, не знаю, чем он закончился).

До последнего дня А. Б. не утратил интереса к спорту, цирку и шахматам. А в теннис он играл до шестидесяти лет. В свой класс (на четвертом этаже) он поднимался без лифта. Но еще до войны за ним прочно утвердилось прозвище «Старик»<sup>1</sup>. Думаю, причиной было лицо — лицо мудреца, с налетом грусти. А еще красивая белая шевелюра (белая — после смерти жены) и бледно-желтый цвет лица. Больше ничего, указывающего на возраст, в нем не было. Походка и движения быстрые, но когда у него было хорошее настроение, ходил медленно, вразвалку, заложив руки в карманы пиджака. Во всем любил юмор. Как и у всех смертных, у него были свои недостатки. Он иногда ошибался в оценке музыкантов — зарубежных, советских — и даже своих учеников. Но он был человеком большого мужества, достоинства, честным и бесконечно добрым. К нему постоянно обращались за помощью разные люди, друзья и недруги. Он никогда никому не отказывал. Перед эмиграцией я случайно узнал, что для своей ученицы В. П., потерявшей на войне мужа и оставшейся с ребенком в бедственном положении, он купил однокомнатную квартиру в консерваторском доме. А сам долгое время, даже в бытность директором, жил в Скертном переулке на шестом этаже без лифта, в неудобной квартире.

Сегодня в Москве есть люди, которые знают значительно больше подробностей и фактов из жизни Гольденвейзера. Но получить эти данные для публикации в эмигрантской прессе просто невозможно, ибо у людей, проживших жизнь под гнетом страха и напряженности, в условиях осторожности и осмотрительности, сложилось определенное психическое устройство. И никакая гласность тут не поможет. Если я получаю новогоднюю открытку, то для меня это большая радость.

Гольденвейзер умер в ноябре 1961 года, и только тогда я понял, что он для меня значил! Через неделю после него умер Григорий Гинзбург, приемный сын Старика и мой учитель.

---

• <sup>1</sup> В то же время ученики выдающихся педагогов фортепиано К. Н. Игумнова и Г. Г. Нейгауза в разговорах между собой, как правило, называли их по именам: «Костя прослушал», «Генрих сказал» и т. д., и т. п. (примеч. автора)

Гинзбург своим пианистическим величием как бы дополнял Гольденвейзера, и то, что они ушли из жизни почти одновременно, мне представляется закономерным. Для фортепианного факультета Московской консерватории с их смертью завершилась делая эпоха.

Светлая память вам, дорогой Александр Борисович!

### **МУЗЫКАЛЬНАЯ МОСКВА В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ**

Музыкальная жизнь Москвы в тридцатые годы была очень интересной и разнообразной. Хотя своих исполнителей тогда было меньше, это компенсировалось частыми концертами крупных иностранных гастролеров. Некоторые из них побывали в разных городах Союза. Крупнейший европейский дирижер Оскар Фрид был первым из тех, кто приехал в СССР после революции. Его принимал Ленин. В 1934 году он остался жить в Москве. Отто Клемперер в своих мемуарах назвал его «гениальнейшим дирижером». Умер Фрид перед войной, кажется, в Тбилиси.

Приезжали и другие: Бруно Вальтер, Эрих Клемперер, Клейбер, Лео Блех. В Ленинграде работал известный дирижер Фриц Штидри. В Харькове — Пауль Клецки. В Москве с 1930 года оркестром радио руководил Георг Себастьян. О Фриде я уже говорил. Оркестр Московской филармонии возглавлял Эйген Сенкар, а концертмейстером первых скрипок был приглашенный им австриец Бронислав Мигман, уникальный оркестрант. Высоченный, плотный, скрипка в его руках казалась игрушкой. В итоге три дирижера высшего класса являлись стержнем концертной жизни Москвы. Георг Себастьян проявлял внимание к молодым советским солистам. Именно с ним Тихон Хренников исполнил впервые свой Фортепианный концерт летом 1935 года на эстраде парка имени Горького.

Сенкар был прекрасным, требовательным дирижером. Благодаря ему оркестр Московской филармонии достиг очень высокого уровня. Но в отличие от Себастьяна, Сенкар не хотел работать с молодыми солистами и по отношению к ним вел себя недостойно. Дело дошло до того, что однажды на репетиции концерта Моцарта пианист Абрам Дьяков ушел, хлопнув крышкой рояля. По самое забавное произошло с Яшей Флиером на одном из первых его выступлений. Играл он тогда ошеломляюще. И вот, готовя программу, Сенкар назначил репетицию с Флиером на день концерта. Мало того, он оставил ему всего пятнадцать минут, а Второй концерт Листа идет двадцать минут. Флиер был совсем молод, впервые выступал в Большом зале консерватории, с престижным оркестром и знаменитым дирижером, и потому все проглотил. Начинается второе отделение концерта. Выходит Яша, тогда еще в костюме, не во фраке, и начинает играть. Его полюбили сразу, сидели, как замороженные. Концерт идет фактически без репетиции. Виолончелист Сергей Ширинский прекрасно знал и играл соло. Но молодой кларнетист играл Концерт впервые и поэтому запустил свое соло ровно в два раза быстрее. У всех перехватило дыхание. Вот-вот сорвется... Музыканты растеряны. А Яша уверенно, упрямо играет свое. И вдруг Бронислав Митман заиграл на скрипке соло кларнета и довел его до конца. Все было спасено. Митман оказался героем, а Сенкар в гневе сломал дирижерскую палочку. Подобное бывает в концертной практике.

Большой зал консерватории видел нечто невероятное. Произошло это перед войной. Исполнялась сюита Грига «Пер Гюнт». У пульта — дипломант конкурса дирижеров Михаил Жуков. Позже он стал главным дирижером Театра оперетты. В зале аншлаг. Все идет гладко. Наступает момент исполнения песни Сольвейг. Солистка на эстраде едва успела раскрыть рот, как в зале поднялась женщина и запела. Она пропела все до конца в сопровождении оркестра. А солистка так и не издала ни звука. Жуков решил, что это трюк, выдумка режиссера, и продолжал исполнение. В публике замешательство, никто ничего не понимает.

Антракт. Режиссер набрасывается на дирижера: «Что вы наделали?» А Жуков в ответ: «Нет, что вы наделали?»

Конферансье в Большом зале был некий Про, пожилой мужчина, но слухам, бывший полковник царской армии. Произведения Дебюсси, Равеля и других зарубежных композиторов он с прекрасным произношением объявлял на языке оригинала, при этом смотрел перед собой и казался неприступным. Выходит он после антракта и говорит: «Товарищи! Произошел возмутительный случай. Неизвестная гражданка позволила себе спеть песню Сольвейг». Как выяснилось потом, «неизвестной гражданкой» оказалась далеко не

молодая женщина, хористка Большого театра. Мечтой ее жизни было исполнение песни Сольвейг с оркестром. Поняв, что это, скорее всего, последняя возможность, она таким образом осуществила свою мечту.

Большим событием концертной жизни был приезд Яши Хейфеца. С билетами обстояло настолько сложно, что профессор А. И. Ямпольский сидел в первом амфитеатре Большого зала. В партере находилось всевозможное начальство.

Профессор П. С. Столярский привел к Хейфецу своих талантливых учеников — Лизу Гилельс и Мишу Фихтенгольца. Но Хейфец вначале потребовал исполнения гамм. Они не были готовы к этому, и Хейфец отказался их слушать. Профессор Ямпольский показал Хейфецу своего питомца Бусю Гольдштейна. Хейфец был в восторге. Когда Гольдштейн приехал в Германию, то получил теплое письмо от Хейфеца. А позже, по его рекомендации, Гольдштейну прислали приглашение на профессорское место в США. Но он уже утвердился в Германии, освоил язык, обжился и решил не уезжать.

В те годы приезжали в Москву и Ленинград исполнители мирового класса. Пианисты: А. Корто, Э. Петри, Р. Казадезюс, Артур Рубинштейн, И. Фридман, А. Шнабель. Скрипачи: Я. Хейфец, Е. Цимбалист, И. Сигети, Ж. Тибо. Виолончелисты: Морис Марешаль, Рая Гарбузова. Солистов не перечесать. Помню, весь сезон 1934/1935 годов была замечательная польская певица Эва Бандровска-Турска; сезон 1935/1936 годов пианист Эгон Петри играл в разных городах страны. Стали утверждаться на концертной эстраде Давид Ойстрах, Григорий Гинзбург, Лев Оборин, Иван Козловский, Александр Пирогов, Марк Рейзен, Яков Зак, Роза Тамаркина, Мария Максакова, Валерия Барсова, Эмиль Гилельс, Яков Флиер, Мария Юдина, Мария Гринберг. Если кого пропустил, *прошу* прощения.

После революции зарубежные гастроли русских музыкантов фактически прекратились. В первые годы советской власти уехали на гастроли и не возвратились Рахманинов, Глазунов, Шаляпин, Метнер. Остались за рубежом и величайшие пианисты: Владимир Горовиц, Симон Барер и Иосиф Левин. Леопольд Ауэр и плеяда его великих учеников: Яша Хейфец, Ефрем Цимбалист, Миша Эльман, братья Пиастре уехали не на гастроли, а кто как мог и... забыли обратный адрес. Возвратился только один Мирон Полякин. В двадцатых годах состоялись гастроли квартета имени Глазунова в скандинавских странах и скрипача Михаила Эрденко в Японии. В 1935 или 1936 году солисты Большого театра Барсова, Максакова, а также Ойстрах и Гинзбург отправились с концертной поездкой в Швецию, Норвегию и Польшу. Затем в Турцию поехали дирижер Николай Голованов и Лев Оборин. И на том все.

Трудно себе представить, но с 1930 по 1936 годы концертную жизнь Москвы еще не охватило партийно-кадровое зловоение. Музыкантов определял талант. Послужной список их бабушек и дедушек с анализом крови и мочи никого не интересовал. Всему этому в 1936-1937 годах пришел конец. Пропаганда из года в год нагнела, охватывая одно за другим проявления жизни, разума, культуры, внося во все свой примитив и интеллектуальное убожество.

В тридцатых годах еще не было конкурсомании, и конкурс имени Шопена в Варшаве не затмил другие музыкальные новости. Но вот в одной из книг-воспоминаний написано: «В 1932 году советские пианисты уехали в Варшаву на конкурс Шопена и вернулись ни с чем». Москвичи старшего поколения помнят другое. А главное: появилась книга о конкурсах, и из нее мы узнали, что советские пианисты получили на конкурсе имени Шопена четыре премии и четыре диплома. IV премия — Абрам Луфер из Киева. Позже он стал профессором и директором Киевской консерватории. Умер после войны. VI премия — Леонид Сегалов. Был доцентом Харьковской консерватории. Умер совсем молодым, двадцати восьми лет. Панихида по нему состоялась в Москве, в Малом зале консерватории. Помню, Игумнов играл вторую часть Седьмой сонаты Бетховена. VIII премия — Теодор Гутман. XI премия — Эммануил Гроссман. Он был доцентом консерватории. Умер после войны. Оба — из класса Нейгауза.

Четыре диплома: Абрам Дьяков, Александр Йохелес, Вера Разумовская и Павел Серебряков. Можно ли эти награды считать «ничем»? К слову, I премия была присуждена эмигранту из России Александру Унинскому. Он родился в Киеве, там же, вместе с Горовицем, занимался у профессора Тарновского. В двадцать три года он уже был знаменитостью в Европе и Южной Америке.

Верить ли после этого автору воспоминаний — дело вкуса.

В 1933 году состоялся Первый Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. И совершенно неожиданно триумф выпал на долю безвестного рыжего мальчика из Одессы Эмиля Гилельса. Ему было шестнадцать лет, О конкурсе много писали и говорили, Сталин и члены Политбюро присутствовали на заключительном концерте, а затем в Кремле приняли самых успешных участников и их профессоров. Тогда Гилельс получил четыре тысячи рублей, а Б. Гольдштейн, А. Каплан, Е. Гилельс, М. Фихтенгольц — по три тысячи. Убежден, что конкурс был задуман как пропагандистское мероприятие, чтобы отвлечь внимание от голода и других тягот. Убежден потому, что после этого ни Сталин, ни еще кто-то из членов Политбюро в Большом зале больше не появлялись.

После блестящего выступления наших пианистов и скрипачей в Варшаве и Брюсселе лауреатов подняли на щит. Интересно, что до этого, в 1936 году, Флиер и Гилельс завоевали на конкурсе в Вене первое и второе место, но шумихи вокруг их имен не было. А с 1937 года портреты лауреатов красовались в клубах и школах, их проносили через Красную площадь пред «очи святыя». Среди них и портрет средней пианистки Нины Емельяновой за диплом на конкурсе. А выдающиеся пианисты Мария Юдина и Владимир Софроницкий, горячо любимые публикой, делавшие аншлаги в Большом зале, властями не замечались. Дешевый шаблон и бездарная пропаганда поглотили все.

В конце тридцатых годов гремели имена авторов популярных песен: братьев Покрасс и Матвея Блантера. Их «творчество» — музыкальный примитив на пропагандистской службе. Думаю, до революции их мотивы распевали бы шансонетки. А теперь это ложилось на актуальный военно-патриотический или тракторно-индустриальный текст и сопровождало наше победоносное шествие к социализму. Еще больше гремел Исаак Дунаевский. Но он был действительно талантливый и грамотный человек. Возможно, не ошибусь, если скажу, что нет и по сей день автора популярной музыки к кинофильмам лучше Дунаевского. Иногда, пробегая по волнам транзистора, я слышу его музыку не пропагандистского характера: «Лунный вальс», лирические песни, увертюру к фильму «Дети капитана Гранта». Это не назовешь политикой. Если учесть, что после появления этих произведений прошло пятьдесят лет, то большей похвалы для автора популярной музыки не придумать. Особенность того времени заключалась в том, что без увязки с пропагандой вообще не мог появиться автор легкой музыки. Пропаганда заполонила всю жизнь. Даже Шостакович написал музыку к пропагандистскому фильму «Встречный», и основную песню из него орали на улицах. Прокофьев написал кантату «Здравица», и все знали, в честь кого. Такое было время. Песни о Сталине создавали чуть ли не наперегонки Арам Хачатурян, Исаак Дунаевский, ведущий тогда композитор Украины Лев Ревуцкий. Но всех переплюнул Александр Александров «Кантатой о Сталине». Вспоминаю текст:

*О Сталине мудром,  
Родном и любимом  
Прекрасную песню  
Слагает народ!*

Написал от души. Говорят, он его очень любил. Он ли один?

Легко быть умным задним числом. Мы, молодежь, тоже любили своего «вождя». Из песни слова не выкинешь. Арнольд Каплан удивленно спрашивал меня: «Ты заметил, что Старик [А. Б. Гольденвейзер] ни разу не произнес имя "Сталин"? Почему?» Теперь я могу ответить: потому, что он был умнее не только нас, юнцов, но и многих постарше.

Часто я с облегчением думаю о Прокофьеве. Он в те годы написал оперу на пропагандистский сюжет «Семен Котко». К счастью, ее поставили в Оперном театре имени Станиславского. Батя [Сталин] туда не ходил. Появись она, Боже упаси, в Большом театре, возможно, у нас не было бы инструментальных шедевров послевоенного Прокофьева. Он был старше и вряд ли выдержал бы то, что выдержал молодой Шостакович...

Интереснейшим музыкальным событием явился конкурс пианистов 1938 года в Москве. После разоблачения нашими славными органами тысяч и миллионов «врагов» бдительность достигла своего апогея. Все кандидаты проходили допрос на право участвовать в конкурсе.

Тому уже был прецедент. В 1937 году в Ленинграде состоялось прослушивание-отбор для участия в конкурсе имени Шопена в Варшаве. Безоговорочно прошла Мария Гринберг, ставшая позже выдающейся пианисткой современности. Но решение жюри отменили из-за того, что она была замужем за человеком, оказавшимся «врагом народа». Можно ли ей после этого доверять интерпретацию музыки Шопена, да еще за рубежом? Когда же в 1938 году репрессировали ее отца, то положение стало совсем «нетерпимым», и ее уволили из филармонии, оставив с ребенком без средств к существованию. И только после письма куда-то «наверх» ее восстановили на работе.

Так вот, ответственные товарищи решили рубать сразу. Допрос всех участников конкурса проводился компетентными органами. На столе лежало досье допрашиваемого. Участник конкурса, любимец Гольденвейзера, Арнольд Каплан зашел в комнату допроса и остановился... За столом сидят бдительные товарищи и задают они мальчишке вопрос: «Какое отношение вы имеете к Томскому?» Тогда после Троцкого самыми презренными именами были Бухарин, Зиновьев, Рыков, Томский. Арнольд Каплан растерянно молчит. Ему, улыбаясь, говорят: «Можете идти». Дело в том, что один из его родственников носил эту фамилию. Точнее, брат мужа его родной сестры. Смешно, правда? Оказывается, нет. В результате этого допроса на конкурс не был допущен один из лучших учеников Нейгауза Кирилл Виноградов. О нем говорили как о претенденте в лауреаты.

Виноградов вообще был талантливым человеком. Прекрасно рисовал карикатуры. Иногда на студенческих вечерах по рукам ходил его альбом с дружескими шаржами на профессоров и студентов. Почему же Кирилла Виноградова отстранили от участия в конкурсе? Он уроженец Киева, и его мать когда-то входила в какое-то гуманитарного характера объединение. Но оно не имело чести быть под опекой большевиков. Тогда все задавали модный вопрос: «Сидит?» А она даже не сидела. Тем не менее, Кирилла отстранили. А ведь он целый год готовился и жил мыслями о конкурсе. Жутко было на него смотреть...

В довоенные годы на первый план выдвинулась политика. Гастролеров называли не артистами, музыкантами или исполнителями, а посланцами. В 1939 году предполагалась поездка в Штаты Эмиля и Лизы Гилельс, Давида Ойстраха, Льва Оборина, Даниила Шафрана, но из-за начавшейся войны она не состоялась. После 1937 года музыкальная жизнь Москвы оказалась унылой. Не было гастролеров, лишь отдельные интересные концерты наших исполнителей.

Жизнь становилась жестче, однообразнее, скучнее.

После войны в Большом театре поставили оперу украинского композитора Германа Жуковского «От всего сердца». Пришел Батя. Потом начался такой разнос, что автор слег и исчез. А оперу «От всего сердца» прозвали «Инфаркт». Вообще Большой театр стал местом трагедий и драм не только на сцене, но и в жизни. Наступило тяжелое время для композиторов, дирижеров и даже оркестрантов театра. Некоторые из них шли, как всегда, на работу, ничего не подозревая. У входа у них отбирали пропуск и не впускали в театр, то есть выгоняли. Так было со скрипачом Пинке — участником прекрасного так называемого «Московского трио»: Шор, Пинке, Крейн.

Но особенно гнусно поступили с Калиновским. Семен Калиновский — блестящий скрипач. Более двадцати лет он украшал оркестр Большого театра. Его игра отличалась проникновенностью, теплотой и очень красивым звуком. Когда он играл балетные соло, казалось, играет сам Крейслер. Его уважали. По мнению многих музыкантов, после революции в Большом театре лучшими скрипачами были Калиновский и Закс. Оба — лауреаты с довоенных времен, когда их еще было мало. Борьба партии «за идеологическую чистоту» становится явной, если «работу с кадрами» начать со знаменитостей. Неожиданно Калиновскому заявили, что он уволен. На его возмущение ответили: «Играйте конкурс на общих основаниях». Калиновский согласился. Это была его ошибка. Он же знал, что слушать его будут кадровики и их музыкальные задолбизы. Он знал, что умственное напряжение и тем и другим противопоказано и мышление их примитивно, как у трилобитов: есть пятый пункт — нет пятого пункта. И так до очередного указания начальства. И все же играл, дал им возможность над собой поиздеваться. Игра их не удовлетворила. Удар оказался роковым.

Вскоре Семен Калиновский умер.

В драматической ситуации внезапно очутился главный дирижер Большого театра С. Самосуд, бывший до этого главным дирижером Ленинградского Малого оперного театра. Автор «итогов» шопеновского конкурса (1932 г.) порочит не только Гольденвейзера, но и Самосуда. Мол, никакой он не дирижер, «нахал и только».

В книге «Кирилл Кондрашин рассказывает» есть глава «Великие оперные деятели». Кондрашин называет трех: Голованова, Пазовского и Самосуда. Последнего он очень ценил и как симфонического исполнителя. Думаю, этим можно объяснить то, что Ойстрах и Гилельс записали на пластинки концерты Чайковского с Самосудом.

Музыканты — народ веселый, поэтому все недостатки и ошибки дирижеров становятся достоянием гласности. В Большом театре балетами отлично дирижировал Ю. Файер. Но в оркестре знали, что он дирижирует по клавиру. Где-то одно из мест виолончели всегда играли чуть иначе. И однажды, шутки ради, заиграли точно по партитуре. Файер, услышав другое звучание, остановил оркестр. «Что вы играете?» — возмущенно спросил он. В ответ музыканты показали ему ноты. Я не слышал и не могу себе представить подобных рассказов о Самосуде и известном, уважаемом дирижере А. Гауке, руководившем Госоркестром, а позже Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио.

С Самосудом случилось типично по-сталински. Сразу взлетел и сразу слетел. Произошло это так: приехал в Москву с официальным визитом президент Чехословакии Эдуард Бенеш. По принятому ритуалу его пригласили в Большой театр на балет. Но он сказал, что его очень интересует русская опера, и пошел на «Снегурочку» Римского-Корсакова. Прослушать целиком такую оперу для членов Политбюро было бы слишком большой нагрузкой на интеллект. Политбюро приходило только на балеты. И в Большом театре Бенеш появился без них. О посещениях Бати дирекцию осведомляли обычно заранее. Поэтому днем появление «театроведов» с Лубянки ничего не предвещало. Церемониал не состоялся. Произошло следующее. Предстоял запланированный спектакль с неожиданной заменой исполнительницы партии Снегурочки. После открытия занавеса в ложу неожиданно вошли Он и Бенеш. «Снегурочка» его увидела, и у нее задрожал голос. Как свидетельствовал стоявший за пультом Кондрашин, она мгновенно овладела собой, и все прошло благополучно. Через четыре-пять дней стало известно, что Самосуд снят. Сам он узнал об этом, когда был на даче. После появилась шутка: «Кто потерпел поражение под Москвой? — Наполеон, Гитлер и Самосуд».

Известно, что в Советском Союзе между показухой и действительностью — огромная пропасть. Опера «Снегурочка» готовилась исключительно для трудящихся Москвы и командировочных. Соответственно расходы на постановку, декорации и прочее были более, чем скромные. Музыканты рассказывали, что персоны появились внезапно, то есть попали на рядовой, непоказушный спектакль, а Самосуд пострадал как художественный руководитель. Был декабрь 1943 года.

Все эти «чудеса» утвердились при Сталине в послевоенное время.

Есть слово, без которого советская власть существовать не может: «перегиб». Ответственному товарищу поручают провести в жизнь какую-нибудь очередную гнусность. Он оправдывает высокое доверие и блестяще выполняет задание. Но остается неблагоприятный пропагандистский эффект. Значит, он допустил «перегиб». Его снимают. С расстрелом или без оно. Все зависит от ситуации или от настроения Бати. Я встречал наивных людей, считавших, что Ежов допустил «перегиб» и понес наказание. Рабская психология. Всем этим бесчисленным «перегибам» аналогична истерия РАПМа — Российской ассоциации пролетарских музыкантов. Она была создана в двадцатых годах. Возможно, как отблеск надежд на мировую революцию. С первых дней советской власти все эти «почины», «порывы», «энтузиазмы» и прочее идут сверху вниз, а затем снизу вверх, превращаясь в очередной лозунг или другое конъюнктурное новшество. Появление РАПМа не было исключением. Рапмовцы считали, что только музыка Бетховена и Мусоргского соответствует духу революции. Все остальное ей чуждо. Полностью отрицали классиков и романтиков, что очень мешало работе учебных заведений и концертной жизни. Возглавлял РАПМ некий композитор Давиденко. Самым популярным его произведением была массовая

песня «Нас побить, побить хотели», посвященная конфликту на КВЖД (Китайско-восточная железная дорога). Эту песню учили на уроках пения в школах:

*Нас побить, побить хотели,  
Нас: побить пытались, э-эх,  
Но мы тоже не сидели,  
Того дожидались.*

Естественно, деятельность РАПМа дала отрицательный пропагандистский эффект, и их разогнали. Опять «перегиб». Потом в газетах появилась карикатура художников Кукрыниксов. Был изображен ансамбль в составе Чайковского, Глинки, Шопена, Баха, Шуберта и Моцарта. Дирижер - Давиденко. И под его руководством они поют песню «Нас побить, побить хотели!»

Вся наша жизнь прошла при сплошных перегибах. От одного к другому.

### **УРА!!! ЛИКОВАНИЕ. ПРОЗРЕНИЕ**

В моей памяти 1937 год остался как апогей довоенной пропаганды. Вечный, как движение Земли вокруг Солнца, лозунг «Выполним пятилетку в четыре года!» уступил первенство другому: «Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь». Он преследовал вас везде и всюду. «Счастливая жизнь» стала основой пропаганды. Сплошное «ура» и ликование охватило всю страну, заглушив плач и стоны миллионов мучеников на допросах, пытках, в лагерях и ссылках. Водоворот «общего пропагандистского счастья» затянул и многие семьи жертв террора, несмотря на их ужасающую нищету. После голодных лет 1937 год был самым сытым. Казалось, теперь из года в год будет становиться все лучше и лучше. Увы... В 1939 году в дни сражений с «супергосударством» Финляндией начались временные трудности, превратившиеся в постоянного спутника нашей жизни. В пять часов утра в жестокие морозы моя мать занимала очередь у Елисеевского магазина, чтобы получить двести граммов масла и, может, чего-то еще. Преимущество москвичей. Остальные получили право отсыпаться в тепле без надежды раздобыть что-нибудь съестное.

В 1937 году в стране господствовал страх. Но в консерваториях не репрессировали ни одного человека. Насколько мне известно, из музыкантов взяли только теоретика Н. Жилиева за дружбу с Тухачевским, о чем знали все, и грузинского дирижера Е. Микеладзе. В этом усматривали местные тбилисские дела.

О ГУЛАГе и пытках мы понятия не имели. В одной из передач радио «Свобода» покойный писатель Виктор Не красов рассказывал, что в те годы он работал во Владивостокском театре драмы. Так же, как и другие, он даже подумать не мог, что рядом с городом находился один из страшнейших лагерей, в котором процветало людоедство. Некоторые, как бы оправдываясь, говорят: «Мы ничего не знали». Ну, а если бы знали? В лучшем случае ничего бы не изменилось, в худшем — стало бы еще больше жертв. Мы, молодежь, восхищались всем, мои друзья и знакомые по консерватории были счастливы, что живут в советской стране. Пропаганда — арктическая, авиационная, промышленная, литературная, сельскохозяйственная и другая — шла полным ходом. Ликуй, народ!

В 1934 году была эпопея с пароходом «Челюскин». Его затерло льдами, и он затонул. Люди остались на льдине. Их чудом спасли герои-летчики: Каманин, Водопьянов, Молоков, Доронин, Ляпидевский (к слову — первый, посадивший па лед самолет). Следующая эпопея: папанинцы. Девять месяцев Папанин, Кренкель, Федоров, Ширшов жили в палатке на льдине в районе Северного полюса. Дрейфуя, льдина начала раскалываться, и тоже чудом спасли тех, кто был на ней. Нигде подобного раньше не было! Чего только не посылали делать ради пропаганды, какие мы сильные и выносливые. Зато об этом говорил весь мир!

Ради пропаганды придумывались различные достижения и людей посылали на верную смерть. Одна из жертв — замечательный летчик Сигизмунд Леваневский. Погибли стратонавты Федосенко, Васенко, Усыскин. Удачно пролетели через Северный полюс в Америку Чкалов, Байдуков, Беляков, а за ними Громов, Юмашев, Данилин. Рекордный полет совершил женский экипаж Гризодубовой, Осипенко, Расковой. Один за другим осуществлял рекордные полеты в высочу Владимир Коккинаки. После успехов молодых скрипачей и пианистов па конкурсах в Брюсселе и Варшаве пошли в оборот и они. Но вершина партийно-



государственного очковтирательства — открывшаяся в Москве в 1938 году Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (теперь это ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства) и проходившие друг за другом декады литературы и искусства братских республик. Вес гремело, шумело и завершалось щедрыми наградами, званиями и банкетами в Кремле.

Встречалось и новое. На декаде Киргизской ССР шла опера «Айчурек» Малдыбаева — Власова — Фере. Случай тройного авторства одновременно. Это вам уже не Бах — Бузони. На партийном лексиконе такое явление называлось «расцвет национальной культуры». А на жаргоне «лабухов» (музыкантов) — «башли» (деньги). Трудящихся столицы настраивали на восторг и гнали в театры так же, как в аэропорт на встречу важных гостей.

Москвичей не покидал юмор. Так, например, памятуя о традиционных ударных инструментах в народной музыке некоторых стран, спрашивали, замысловато выстукивая кулаками по столу: «И так десять дней без передышки. Что это?» Ответ: «Декада литературы и искусства Таджикской ССР».

Отличались глупостью переводы песен из Средней Азии. Их читали перед исполнением. К примеру — «Торжество повой эпохи»: «Пустыня, песок. Один верблюд идет, второй верблюд идет». Следовало еще несколько. И за последним верблюдом произносилось: «Да здравствует великий Сталин!» Это был апогей. Так в дни декад посмеивались москвичи.

Оказавшись в Европе, я подумал: нужны ли скульптурные ансамбли, мраморные дворцы и прочее из сказок «Тысяча и одна ночь» там, где человек в сутолоке, давке и спешке думает только о том, как поскорее вскочить в вагон и как побыстрее подняться наверх. Только ради слов: «Лучшее в мире!» Деньги не свои. Чего их жалеть! Придет время свободного общения, открытых границ, и московское метро, свидетельство эпохи сталинизма, станет для следующих поколений памятником законченному, безупречному идиотизму.

В газетах появилась телеграмма легендарного шахматиста Александра Алехина: «Поздравляю советских шахматистов с двадцатилетием Великого Октября!» Возвратился из эмиграции популярнейший тогда писатель Александр Куприн. Остались в СССР знаменитые шахматисты Сало Флор и Андре Лилиенталь. Решил было последовать за ними и экс-чемпион мира Эммануэль Ласкер, но старик быстро разобрался, что к чему, и вовремя унес ноги. Все это широко рекламировалось: мол, какие люди предпочли СССР! Приехал Ромен Роллан. Он клюнул на показанные ему «потемкинские деревни». А Лион Фейхтвангер, увидев фильм «Искатели счастья» с музыкой Дунаевского, даже поехал в Биробиджан посмотреть на «осчастливленных» евреев (кстати, Вениамин Зускин, игравший одну из главных ролей в этом фильме, позже был расстрелян при уничтожении еврейского антифашистского комитета). И в заключение визита у него состоялась встреча со Сталиным. На вопрос Фейхтвангера: «Почему на выставке работ Рембрандта (тогда она проходила в Москве) стоит ваш бюст?» Батюшка ответил: «Подхалимствующий дурак хуже ста врагов». Цитата из книги Фейхтвангера «Москва, 1937 год», очень быстро вышедшей большим тиражом. В ней есть глава «Сталин — Троцкий»: «Троцкий — быстро гаснущая ракета, Сталин — медленно тлеющий факел». Вот как было. Интересно, появится ли она в академическом издании писателя?

Многим казалось, что Европа начала признавать и даже ценить советскую власть. Бернард Шоу не прекращал делать реверансы в сторону государства рабочих и крестьян, хотя последних стало значительно меньше. И только один Андре Жид не клюнул. Ему устроили очередную показуху, а он заметил то, что не предусматривалось по плану. Возвратился в Париж и рассказал все как есть. Вот какой «мерзавец»! Показывали... старались... И «клеветнику» ответили. В «Правде» появилась большая подвальная статья: «Смех и слезы Андре Жиды». В те годы были люди, по той или другой причине не принимавшие советскую власть, но большая часть их верила тому, что писалось в газетах и говорилось с высоких трибун. А в газетах ежедневно печатались фото, восхваления, рассказы о шахтере Алексее Стаханове, токаре Николае Бусыгине, сталеварах Макаре Мазае и Никите Изотове, рабочей династии Коробовых, ткачихах Дусе и Марии Виноградовых, трактористке Паше Ангелиной. За ними шли рангом помельче. Даже Мэрилин Монро и Грета Гарбо могли бы позавидовать такой популярности и рекламе. Но главное: мы всерьез принимали эти нормы и «чудеса» труда — результат полной, абсолютной изоляции от всего мира. Никаких контактов и инфор-

мации, никаких радиопередач: все поглощено одуряющей пропагандой. Скажу больше: не было даже желания, любопытства узнать что-то неофициальное.

Только после доклада Хрущева и появления Солженицына закончились все «ура». В мышлении людей появилась логика. А логика и пропаганда несовместимы, как огонь и вода.

Хрущев действовал примитивно. Он «вытащил» Загладу как героиню сельскохозяйственного труда. Но потом ее время прошло. Над старушкой посмеивались, подшучивали не менее, чем над лозунгом «Свобода. Равенство. Братство».

После снятия Хрущева даже бытовал анекдот. Мол, появилась новая антипартийная группа: Хрущев, Аджубей (его зять) и Заглада. Сегодня он не звучит, не то время. Или стенограмма совещания по вопросам музыки у Жданова. Тогда ее воспринимали относительно спокойно. Сейчас же, если ее где-нибудь находят, то читают как некий курьез. У некоторых, в том числе и у меня, она сохранилась. А эпопея с так называемой «дискуссией по вопросам биологии» вызывает противоположные эмоции. В те годы гигантским тиражом вышла огромная книга в переплете, ставшая впоследствии свидетельством неслыханного позора в науке. Это книга-стенограмма так называемой «дискуссии по вопросам биологии». Ее участники уничтожали подлинных ученых и утверждали торжество сталинского злодея-шарлатана от науки Т. Д. Лысенко. Как и другие свидетельства, она «исчезла». Мой друг в Донецке совершенно случайно раздобыл ее за большие деньги. Нельзя спокойно читать эту мерзость. Становится страшно.

Я, слава Богу, не политик. И, как ровесник советской власти, говорю только о том, что видел в Днепропетровске, Москве и Донецке — городах, где прошла моя жизнь. Советский Союз — страна всевозможных званий и формулировок. Звания облегчают жизнь их носителям, а формулировка — пропаганда, демагогия. Воздух, которым там дышат. Одно из самых употребительных слов пропаганды — народ. «Народ встретил», «народ не принял», «чуждая народу», «глубоко антинародный», «сын народа», «враг народа», «слуга народа». Всю жизнь только это и слышал.

После появления книги Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» ходило по рукам выступление писателя Константина Паустовского. «Кто дал им право представлять народ?» — спрашивал он.

Для советской пропаганды слово «народ» — пустой звук. Его можно заменить словом «население». Но есть формулировка, идущая на *piano*, лирическая: «простой советский человек». Это уже реальность. Он существует, поглощенный своими заботами и лишениями: человек, которому свсрхскромный бюджет не позволяет свести концы с концами. У него семья, дети. Их нужно накормить и одеть. Ему «до фонаря» успехи Кубы, Вьетнама, Камбоджи. А заодно и успехи передовиков Поволжья, Приморья, сталеваров Магнитки и т. д. Подобные успехи приносят радость лишь тем, кто о них пишет. «Простой советский человек», «воодушевленный» решениями очередного пленума или съезда, лелеет лишь одну мечту: борщ с мясом для своей семьи. Что может быть проще? Но он годами не видит его. Другим его изображают те, кто получает за это деньги.

## НЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ КИНОДРАМАТУРГИИ К УГОЛОВНОМУ МИРУ

Морозный декабрьский вечер в городе Днепропетровске начала тридцатых годов. Только шесть часов вечера, но у окраин улицы уже пусты. Одноэтажные дома с плотно прижатыми железным засовом наружными ставнями. Гнетущая тишина усугубляет тревогу. Скорей, скорей домой. Неожиданно из-за угла на вас выходят три человека: женщина с револьвером и двое мужчин. «О радость...» Да это же положительные герои советской кинодраматургии. Какие они там симпатичные!

«Герои» предлагают вам, вашей жене и двенадцатилетней дочери снять пальто. Возражений нет, только робкое: ребенок может простудиться. В ответ верзила протягивает руку за детским пальто. Вы «свободны» и налегке мчитесь домой.

Известны случаи, когда людей раздевали догола в самые лютые морозы. Особенно грозной такая «раздевалка» была в дни послевоенной сталинской амнистии. Я жил в Москве, о самом центре, па улице Станкевича, там, где Моссовет и бронзовые ворота. Ночь напролет в

кожухах и валенках ходили с каждой стороны по два солдата. Но окраины не для показухи, и они никогда не привлекали внимания властей. Там уже с вечера все сидели по домам. Говорили, что в прилагерных городах и днем и ночью был настоящий кошмар. Уголовников, как поклонников советской власти, амнистировали раньше всех. Из тюрем и лагерей вышли на свет Божий блатари.

В тридцатые годы печать, кино, театр, литература и т. д. старались вызвать отвращение ко всяким классовым врагам, а уголовный мир представить с нескрываемой симпатией и какой-то таинственностью. Его романтизировали. Подумаешь, у вас вытащили бумажник, или исчез чемодан, или ограбили квартиру. Вы же не видите тех, кто это сделал. Как не сказать: «Бойцы невидимого фронта»... Наверное, этим можно объяснить тогдашнюю моду среди молодежи па блатные песни: «Лимончики», песню из кинофильма «Путевка в жизнь» и другие. Но особенно охотно распевали «Мурку»:

*Ах ты, моя Мурка,  
Ты моя голубка,  
Здравствуй, моя Мурка, и прощай!  
Ты зашухарила всю нашу малину,  
А теперь маслину получай.*

На экраны вышло звуковое кино. Были забыты «Броненосец Потемкин», «Месс-Менд» в трех сериях с Игорем Ильинским, всеми любимые Мэри Пикфорд, Гарри Пиль, Дуглас Фербенкс, комики Гарольд Ллойд, Бестер Китон, Монти Бэнкс.

Если не ошибаюсь, первым советским звуковым фильмом была нашумевшая «Путевка в жизнь». Имена ее героев — Мустафы и Жигана — произносились всеми, и всюду распевали блатную песню из этого фильма. Пожалуй, самым популярным актером кино в те годы был Николай Баталов, с его прекрасной белозубой улыбкой. Иностранные фильмы становились все большей редкостью.

Звуковое кино стабилизировало советскую кинопромышленность и ее тематику. На экранах появился так называемый «наш современник» — строитель нового общества. И трудно себе представить более подходящие лица, чем Николай Крючков, Борис Андреев и им подобные. Хорошие режиссеры знают свое дело.

Желание советской кинодраматургии вызвать симпатии к уголовному миру и отвращение к интеллигенции привели к тому, что уголовники часто становились героями эпизодических ролей. В новых сценариях они выглядели эдакими обаятельными шалунами. За таких любая порядочная дама замуж пойдет. А они все больше и больше заполняли экран. Уже напрашивалась поэма о них. И она появилась. Это был фильм «Аристократы».

Герой фильма — завзятый уголовник Костя Капитан. Красивый, стройный и мужественный. Он полон благородных порывов. Запомнилась сцена, где Костя заставил омерзительного интеллигента влезть на стол и, напевая, танцевать перед ним румбу. А Костя Капитан сидит и, как бы утомленный, взирает. В зале хохот. В этой сцене были отсняты два блестящих актера — Михаил Астангов и Михаил Яншин.

Труднее оказалось с уголовной дамой. Если советский потребитель принимает все без разбора, то советский зритель требовательней. «Обаятельные шалуны» проходили, а с уголовной бабой дело обстояло хуже. Товарищ Шейнин и другие авторы это понимали. Когда перед вами фильм-поэма о жизни уголовников в лагере, их перевоспитании, самоотверженном труде, энтузиазме, патриотизме, порядочности, нужны романсы, любовь и уголовная красotka. Выход нашли. На экране появляется Сонька с душещипательным рассказом о своей судьбе. Это как-то примиряло. Конечно, к ней относились не так, как к Косте, но она перестала быть противной. Зритель полюбил, повторяю, полюбил Костю.

Скептики говорили: еще один такой фильм, и молодежь начнет записываться в уголовники. Роман советской кинодраматургии с урками продолжался и после войны. В наш быт с экранов входили герои фильмов — «наши современники». Не зря Ленин сказал: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Наконец, по рукам пошла ошеломляющая книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут».

Она писала, что весь ад начался с появлением уголовников. По зарубежному радио передавали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Многие читали рассказы Варлама Шаламова. Кровь леденеет в жилах, когда узнаешь о том, что творили уголовники. Какое страшное преступление — воспевать гнуснейшее отребье в человеческом обличье перед народом и перед молодежью! И не просто воспевать, а обязательно вызывая отвращение к интеллигенции. Товарищ Сталин настолько не терпел интеллигенцию, что, будучи сугубо гражданским лицом, не ходил в пальто. Тогда писали и говорили с умилением: «Человек в серой шинели». А под ней был френч.

Товарищ Мао ничем не отличался от Сталина. И китайцы, в подражание своему «Великому, Мудрому», одевались под него. До войны почти все парработники и пропагандисты ходили в гимнастерках военного образца. А Никитушка под пиджаком носил крестьянскую косоворотку, только чтобы подальше от интеллигентного вида. Секретарь Днепропетровского обкома, а позже ЦК Украины Хатаевич до своего разоблачения одевался так же. Сколько я себя помню, в Советском Союзе ответственные и безответственные руководители своим внешним видом всегда подражали вышестоящим.

Перед войной в школах ввели новый предмет — «Сталинскую конституцию». (Говорят, ее писал Бухарин.) Пришел в Центральную музыкальную школу преподаватель. Как и полагается — гимнастерка, сапоги. Белая ворона среди наших солидных, хороших учителей. И вот этот «эрудит» заговорил... Сплошное убожество. В основном он произносил только три слова: «Сталин», «значит» и «понимаете», добавляя что-то между ними. Какое невежество и издевательство над русским языком. Зато про такого не скажешь «интеллигент».

Так как за шляпой сохранилась буржуазная репутация, то до войны Сталин появлялся в фуражке военного образца, а рядом стоящие — в рабочих кепках. В годы войны Сталин облачился в военный мундир. Его соратники в связи с выходом на мировую арену оставили пролетарский вид и напялили па себя шляпы. С этого времени в заграничные командировки отправлялись только в шляпах и при галстуках.

Путь от гимнастерки или косоворотки под кепкой до воротничка с галстуком под шляпой - это история.

## **ДВА КОМСОМОЛЬСКИХ СОБРАНИЯ**

Одно из общих комсомольских собраний в консерватории в самый разгар террора осталось в памяти на всю жизнь. Мой возраст, «подвиг» Павлика Морозова и многое другое мешали осмыслить и разумно понять его.

Так как речь шла о нашей студентке-пианистке, я ей искренне сочувствовал и жалел. На большее моих «ресурсов» не хватало. То же самое могу сказать и об остальных присутствующих. На собрание пришел какой-то важный чин из ЦК или горкома комсомола. Там уже всех во главе с Косаревым «разоблачили», посадили и перестреляли. Это был новый, еще не разоблаченный. Гимнастерка, сапоги, военно-полевая сумка... Известно, что вся пропагандистская ахинея, все эти решения, директивы, протоколы требуют много бумаги. Казалось бы, нет ничего удобнее портфеля. Но портфель отдает интеллигенцией, а спектакль должен быть совершенен. Отсюда военно-полевая сумка. Как правило, ее носят через плечо, но в данном случае был приспособлен ремешок для руки, и все «мудрые» решения приходилось гнуть, сворачивать, чтобы они уместились в сумке. Но зато вид был бдительный. Начеку. В соответствии с модной тогда песней «Каховка»:

*Мы мирные люди,  
Но наш бронепоезд  
Стоит на запасном пути.*

Собрание начали с самого важного вопроса, ради которого этот тип и появился. К столу президиума в 47 классе консерватории подошла маленькая, очень худенькая пианистка, студентка с кафедры Г. Г. Нейгауза по фамилии Гутман. Выглядела она подавленно, беспомощно. Казалось, вот-вот заплачет. Чувствовалось ее полное одиночество. Возможно, была и голодна. Но она не плакала. Видно, сердце окаменело от страданий.

Военизированный тип начал: «Товарищи! Мать и отец этой вашей студентки нашими

славными органами разоблачены как враги народа. Сейчас они находятся под следствием и понесут заслуженную кару».

Мира Гутман стоит чуть согнувшись, смотрит в пол. Повторяю, не плачет. А тип продолжает: «Товарищи комсомольцы! Она, будучи ихней дочкой, жила, пила, ела вместе с ними, нашими врагами. Неужели она ничего не заметила? Ведь нашим славным чекистам понадобилось какое-то время, чтобы напасть на след и обезвредить их. Сообщи она хоть что-то компетентным органам, то вред, нанесенный ими, был бы гораздо меньше. Товарищи! В данном случае мы имеем укрывательство врагов народа. А может быть, и прямое пособничество врагу...»

Мы начали переглядываться. Гутман была умной, скромной студенткой. Ее уважали. Кто-то поднялся и сказал: «Если под следствием, то, может, стоит подождать, пока все выяснится». Тип из горкома ответил: «Будем считать так: кого взяли, тот виноват». И тут студенты один за другим начали выступать. «Товарищи! На примере комсомолки Гутман мы видим, насколько враг коварен и хитер», — сказал один. «Товарищи! Враг среди нас. Мы должны удвоить, утроить нашу бдительность», — подхватил другой. «Товарищи! Мы должны улучшить воспитательную работу», — добавил третий. И пошло... «Мы обязаны... мы должны... мы недостаточно...» Тип из горкома ожидал слова «она», а все произносили «мы». И этим ее спасли. Если бы проголосовали за исключение из комсомола, ради чего этот идиот пришел, страшно подумать, чем все могло бы закончиться...

В заключение хочу сказать, что в прошлом скромная, худенькая студентка-комсомолка недавно умерла в Москве. И была матерью известной виолончелистки Наталии Гутман. Однажды, в конце пятидесятых годов, я встретил ее в консерватории и спросил: «Почему ваша талантливая дочь не носит партийно-государственную фамилию своего отца?» Она ответила: «Наташа носит фамилию Гутман в память о моих родителях».

Музыкантам известно, что путь первоклассной виолончелистки Наталии Гутман не шел по гладкой дорожке. Долгое время она была невыездной.

Былой другое...

В довоенные годы студенты Московской консерватории были очень дружны и солидарны. Расскажу о другом общем комсомольском собрании. Состоялось оно перед войной в 21 классе.

Хорошее тогда было время для нас, студентов. Еще не вербовали доносчиков из нашей братии, и ничто не мешало нашему товариществу и дружбе. Темой объявленного комсомольского собрания был доклад «Моральный облик советского студента». Снова появился ответственный товарищ из горкома комсомола.

Прочтя свой доклад, он сказал: «Вот сегодня мы будем разбирать аморальные проявления среди ваших комсомольцев...»

Объявили перерыв. Подхожу я к своему другу, ученику Гольденвейзера, Грише К. и спрашиваю: «Как дела?» Он бледен, чем-то взволнован. Отвечает: «Полная лажа. Я. Т. и М. сегодня проходим как иллюстрация к докладу. Сейчас о нас будут говорить». И рассказал о случившемся. Я заволновался.

После перерыва, когда все уселись, попросила слово студентка-теоретик Оля Очаковская: «Товарищи! Я считаю, что прослушанный нами доклад плохо подготовлен и потому малосодержателен и неинтересен. Кроме того докладчик выступал перед аудиторией, которую не знает». И села. Раздались дружные аплодисменты. Бодрый, самоуверенный докладчик превратился в мумию.

Позже мне рассказали, что во время перерыва решили выручать ребят. Для этого необходимо было прежде всего нейтрализовать «ответственного товарища» из горкома комсомола, заткнуть ему рот. Отсюда — такое начало.

Заговорил председатель: «Продолжаем повестку дня. Товарищи! Комсомольцы фортепианного факультета К., Т. и М. два дня назад, поздно ночью, будучи в нетрезвом виде, привели в Дмитровское общежитие трех уличных проституток. Не подчинившись требованиям дежурной, они поднялись па чердак, где их застал комендант общежития. При этом комсомолец Т. его оскорбил. Аморальное поведение недостойно высокого звания

комсомольца. Таких нужно гнать из наших рядов. Обсудив этот вопрос, комитет комсомола предлагает исключить их». И пошла баталия. Один за другим выступавшие говорили: «Товарищи! Я возмущен. Но речь идет о студентах с хорошими показателями учебы и морально выдержанными раньше, и т. д., и т. п.».

«Товарищи! Основная задача комсомола воспитывать. Ну хорошо, мы их выгоним. Это легче всего, но с людьми надо работать. Так нас учит товарищ Сталин, и т. д.». Поднялась девушка: «Товарищи! Нужно начать с нашей воспитательной работы. Она на низком уровне. В позапрошлом году у нас было два похода в МХАТ, на "Любовь Яровую" и "Дни Турбиных". Был культпоход в Большой театр, а что теперь? Куда смотрит комитет комсомола? Если так будет продолжаться, то нечто подобное может повториться». Говорили... Говорили...

При голосовании большинство поддержало выговор. Один из этих троих — Сергей Топчиев — погиб на фронте. Он был замечательный парень и очень способный пианист. Двое других живут сейчас в Москве. Очевидно, они уже на пенсии.

Директором тогда был А. Б. Гольденвейзер. Александр Борисович покрикивал на своих учеников, иногда им доставалось крепко. Он вызвал к себе того из трех, кто был старше и умнее, — Гришу К. Они поздоровались, и Старик, не выпуская его руки, сказал: «Жизнь терниста. Всякое бывает, можно и оступиться. Иногда это помогает лучше мыслить. Хотелось бы, чтобы так было и с тобой».

Гриша шел к нему полный страха, душа была в пятках. Он ждал полного разноса... И вот такие слова, сказанные мягко, успокаивающе, от сердца. Наш Старик был необыкновенным человеком.

P.S. Еще один случай, подтверждающий дружбу и товарищество студентов нашего поколения. Сразу после войны мой однокурсник Володя К. был арестован по ложному доносу и пробыл в ГУЛАГе почти восемь лет. Он рассказывал, что на следствии ему показали блестящую характеристику о нем, присланную из консерватории другим нашим однокурсником, партийным активистом Леней Живовым. Какая же нужна была порядочность и смелость, чтобы дать блестящую характеристику на подследственного. Ведь КГБ берет тех, кто «виноват». К. рассказывал, что его пытали, не давали спать. Это страшная пытка.

Присутствующий при этом врач наблюдал, чтобы не переступили черту, когда подследственного можно потерять. Врачи при КГБ — «гуманисты». Следят, чтобы человек не погиб. От К. требовали, чтобы он дал ложные показания на своего отца. Тогда я все воспринимал как должное. А теперь, находясь здесь уже более пятнадцати лет, не могу понять: зачем им понадобился безвинный старик?

## ДВА КОНЦЕРТА

В мае 1940 года оркестр студентов консерватории отмечал в Большом зале столетие со дня рождения Чайковского. Состоялось два концерта. В первом из них принимал участие Иван Семенович Козловский. Как и принято, за несколько дней до концерта были расклеены афиши, но имя Козловского в них отсутствовало. Объяснялось это просто. Все популярные знаменитости жили нормально, покоя не знали только два ведущих тенора — Иван Козловский и Сергей Лемешев. На всю Москву гремели так называемые «козлята» и «лемешата» — толпы поклонниц-девчонок в возрасте примерно от пятнадцати до двадцати лет и старше. Они имели свой кодекс правил. Были и дежурства. Лемешев и Козловский преследовались ими с рассвета до заката. В опере и на концертах они устраивали овации, подходили к эстраде, орали, визжали и т. д. Толпы этих обезумевших девиц являлись предметом насмешек москвичей. Известная комедийная актриса Мария Миронова изображала счастье одной из них, проглотившей снежный след от левой ноги Лемешева. Почему левой? «Ближе к сердцу», — объясняла она.

Участие Козловского украшало концерт, придавало ему значимость. Но чтобы избежать появления «козлят», о его выступлении сообщили небольшой афишкой у входа в Большой зал только за два часа до начала. Однако едва Козловский спел, пятнадцать-двадцать девчонок ринулись к эстраде. Необычно мало, что, вероятно, и стало причиной их умеренного поведения. Они только аплодировали. Возможно, то были дежурные, следовавшие за певцом по пятам.

Студенческим оркестром тогда руководил Григорий Арнольдович Столяров, недавно назначенный замдиректора по учебной части. Прежде он был художественным руководителем и главным дирижером Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С этой высоты ему устроили падение женщины. Вся его жизнь состояла из взлетов и падений из-за неустойчивых отношений с представительницами прекрасного пола. А главное, из-за их «массовости» и «охвата». Столяров был отличный дирижер-практик и хороший организатор. Лучшего руководителя для оркестра консерватории придумать трудно. Но его интеллигентность и уровень культуры оставляли желать лучшего. Особенно на фоне блестящих профессоров консерватории. На всех собраниях он обязательно произносил речи в духе времени. Сплошная демагогия. Основной его темой была дисциплина и еще раз дисциплина. Все заранее знали, о чем он будет говорить. Студентов это раздражало, тем более что как личность он был малопривлекательным. Его не уважали, посмеивались над ним, разыгрывали.

Итак, Козловский пел арию Ленского. Напомню, в начале, за словами «Куда? Куда?» следуют аккорды. Ребята условились после первого «Куда?» аккорд не играть. Выходит на эстраду Козловский, за ним сияющий Столяров, весь блаженство и умиление. Аплодисменты. Каждый занял свое место. Тишина. Столяров пожирает глазами Козловского. Тот кивнул головой. Вступление началось. Оркестр играет прекрасно. Козловский спел: «Куда?» Столяров, весь томный, прикрыв глаза, чуть наклонившись в сторону, красиво подняв руки, плавно и четко дает аккорд... Абсолютная тишина. Ни звука... Концертмейстером первых скрипок был тогда прекрасный скрипач Анатолий Левин. Столяров на него глянул. Его беспомощные глаза выражали жалость, мольбу, страдание. Казалось, он был в шоке. Ведь никто звука не издал. Явная ошибка. Возможно, с его стороны? Думать некогда. Следует второе «Куда?» Физиономию Столярова исказил страх. Он резко рванул руки вперед... Последовал мягкий, спокойный аккорд. Это был конец первого отделения. Оркестр звучал отлично.

Второе отделение началось исполнением знаменитого Фортепианного концерта Чайковского. В то время он еще не был так заигран. Исполняла его аспирантка Нейгауза. Все идет как положено. Проходит лирическая тема у скрипок в сопровождении фортепиано. Неожиданно со стороны первых скрипок послышался быстрый, короткий мотив песни из эпизода с велосипедами — из кинофильма «Цирк». Столяров повернулся влево, глаза его вылезли из орбит. Вот-вот он закричит, вззоет, но музыканты поглощены исполнением. Они видят ноты, жесты дирижера и больше ничего. Сплошная сосредоточенность и серьезность. Однако для него уже никого и ничего не существовало, кроме первых скрипок. Все его внимание устремилось на них. Сказать, что он был в гневе, значит, ничего не сказать. Его трясло. Он ожидал еще чего-то в этом роде. Случай неслыханный. Но что поделаешь?

Назавтра он уже вызывал к себе каждого отдельно, почему-то начав с контрабасистов. И сразу же, без обиняков, говорил: «Пойми, никто никогда ничего не узнает». Он клялся всеми святыми, что еще месяц будет вызывать одного за другим. «Ну хорошо, — говорил он, — ты не знаешь, но тебе известны те, кто знает. На протяжении учебы возникает столько сложностей. У тебя их не будет. Помоги мне. Назови». В оркестре консерватории играло не менее восьмидесяти-девяноста студентов. Столяров говорил с каждым. Виновника он так и не узнал. Вот что значит товарищество, порядочность и дружба. А ведь знали не только оркестранты, знали и другие студенты.

Теперь я могу раскрыть тайну. Был среди нас студент-скрипач из Ростова Алик Жебровский, поразительный балагур и весельчак. Казалось, он излучал бодрость, свет. Часто мы говорили: «Если плохое настроение, походи к Жебровскому». Так вот, это он наиграл мотив песни, тихо, не выходя из общего штриха первых скрипок. Естественно, близсидящие слышали и понимали, что это для дирижера. Алик Жебровский благополучно закончил консерваторию и играл в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио и телевидения. Возможно, играет и сейчас, если не вышел на пенсию.

В послевоенные годы, при А. В. Свешникове, когда каждого третьего оформляли как доносчика, такое было бы исключено. Господствовали абсолютный порядок и высокая

идейность в духе Павлика Морозова. Из молодых людей вытравляли человеческое достоинство и порядочность. Но главное преступление состояло в том, что у них отнимали лучшее, неповторимое — молодость и дух юности.

Кстати, через несколько месяцев после того случая профессор А. Ф. Гедике проходил с оркестром свое переложение Пассакальи И. С. Баха. Как дирижер он был совсем беспомощен. Но ради него ребята старались вовсю и в итоге сводили концы с концами.

Оркестр студентов Московской консерватории мне доводилось слушать с 1934 по 1948 годы, и никогда он так хорошо не звучал, как при Столярове. Он был отличный дирижер, хотя вес прочее в нем оставляло желать лучшего. Невольно напрашивается сравнение. В юбилейные дни восьмидесятилетия консерватории, при В. Я. Шебалине, состоялось несколько концертов студенческого оркестра. В одном из них изумительный Лев Николаевич Оборин играл Концерт Чайковского си-бемоль минор. О чем можно говорить: произведение как будто «впервые исполнялось по рукописи», да еще «с листа, без репетиции»... Кто из присутствовавших на этом концерте (а их еще много сегодня) мне возразит, если я напомним, что многое шло врозь, и в публике переглядывались? Как человек Оборин был воплощением интеллигентности и деликатности, но он не выдерживал и раздраженно акцентировал, пытаясь помочь дирижеру попасть в такт музыке. У пульта стоял руководитель оркестра Т. Отражался директорский почерк Шебалина: правильный подбор и расстановка кадров.

Никогда не забудется один из концертов послевоенного времени. Я уже упоминал, что в середине тридцатых годов в Колонном зале проходили концерты лучших артистов Москвы. Героем их был Владимир Хенкин. Его имя поглощало всю афишу, а под ним в два ряда следовали имена выдающихся деятелей театра, оперы, эстрады: В. Качалова, И. Москвина, О. Кпппер-Чеховой, В. Яхонтова, М. Рейзсна, С. Лемешева, В. Барсовой, М. Максаковой, балетной пары Анны Редель и Михаила Хрусталева и других. Такие афиши были обычным делом, в капризы и самолюбие никто не играл. В Москве популярней Владимира Хенкина никого не было. Талантливейший юморист-импровизатор, он, я думаю, утром не знал, о чем будет говорить вечером на эстраде. Однажды его случайно привели на консерваторский вечер. Писатель-сатирик не придумал бы того, что Хенкин сыпал с ходу, а главное, со знанием специфики нашей аудитории, на темы консерваторской жизни, называя имена известных профессоров. В те времена основой для сатирика был не утвержденный цензурой текст, а талант.

Но в то же время сатирик, хоть и говорил с эстрады все, что хотел, не забывал при этом о желании спать дома. Рассказывали, что однажды Хенкин переборщил — и исчез. Сидел он всего два-три дня. Решили его не трогать. После этого, выступая на концерте в Кремле, он, выйдя на эстраду, тут же обратился к Сталину и рядом сидящим: «Вот мы и поменялись местами. Теперь я стою, а вы сидите».

Очень остроумными на эстраде были конференсье Михаил Гаркави, Николай Смирнов-Сокольский и Илья Набатов. Хохма Гаркави с водкой и пивом облетела всю Москву. В одном из концертов несколько выпивох мешали Гаркави вести программу, и он обратился к ним: «Товарищи! Прошу вас, не мешайте! Не мешайте водку с пивом!» Остроумная шутка обрела популярность. Мне довелось присутствовать на концерте Аркадия Райкина в саду «Эрмитаж» — в Москве. Какие-то подвыпившие дураки стали кричать ему из зала: «Не мешайте водку с пивом!» Райкин ответил: «Нет, закусывать лучше надо».

В двадцатые годы в Москве славился остроумнейший конференсье Алексеев. Все знали, что он гомосексуалист. Тогда их еще не трогали. Однажды, в одном из концертов, он с еврейской интонацией, картавя, объявил: «Товагищи, сейчас пэрэд вами выступит Ханкелевич». И Хенкин сразу, еще шагая по эстраде, выпалил в публику: «Товарищи! Наш конфидаираст немножко ошибся». Смех и аплодисменты заглушили дальнейшее. К слову когда Алексеева посадили, Хенкин, пытаясь его спасти, дошел до членов Политбюро. К сожалению, не удалось.

Еще один концерт, который остался в моей памяти, связан с Иваном Семеновичем Козловским. Надо сказать, что в быту его недолюбливали. То говорили, что он заламывает большие гонорары, то выясняли, что он за большие деньги в церкви пел. А в условиях



высокого идейно-политического уровня это вообще безобразие. Когда стало известно, что Козловского обокрали, многие были довольны. Говорили: «Вот теперь он запоет полным голосом».

Итак, с моим другом, физиком, я оказался в Колонном зале на концерте для научных работников. Весь интерес, а вернее, ажиотаж, был сосредоточен вокруг выступления двух теноров: Геннадия Пищаева и Ивана Козловского. Хороший тенор, Пищаев появился после войны. Он часто пел излюбленный репертуар Козловского. И пошло: «куда Козловскому», «лучше Козловского», «забил Козловского». И еще: иногда старые знаменитости надоедают; новых любят больше. Теперь они встретились в одном концерте. В первом отделении выступал Пищаев. Его приняли восторженно. Он, конечно, пел «Рассказ Лознгрина», словом репертуар Козловского. Все счастливы. Устроили ему овацию. Ждут Козловского. Наконец, он появился. В публике раздаются смешки, ухмыляются, переглядываются. Атмосфера явно недоброжелательная.

Козловский прекрасно спел две вещи с фортепиано. Обстановка изменилась. Что хорошо, то хорошо. Никуда не денешься. Затем служитель вынес два стула: гитаристу и Козловскому. Стул для артиста он поставил спинкой к залу. И Козловский, облокотившись, запел старинные русские романсы... Что я могу сказать? Гениально. Нет, я скажу проще. По щекам Козловского скатывались слезы. Плакал весь зал. Его не отпускали. Он пел романсы один за другим. Не знаю, предполагались ли еще выступления. Но после такого ни один нормальный человек на эстраду не выйдет. Концерт закончился. Люди, стоя, аплодируют со слезами на глазах и не хотят уходить. А Пищаев? Пищаева не было. Был великий русский тенор — Иван Семенович Козловский.

## ВОЙНА

С детских лет мое поколение изо дня в день слушало рассказы о злодеях: за школьной партой или в пионеротрядах.

Основными злодеями были президент Польши маршал Пилсудский, Папа Римский, Остин Чемберлен (Псвилл Чемберлен относится к тридцатым годам), Чаи Кайнши, Пуанкаре (Франция) и другие. Самым постоянным был Пилсудский. Эти персоны составляли основной источник дохода художников Виктора Дени и Бориса Ефимова, ежедневно помещавших в «Правде» и «Известиях» карикатуры на них. Но один из злодеев не имел отношения к их зарплате, ибо советские газеты прежде всего отличаются своей благопристойностью. Поэтому мы видели его только в журналах, так как он — «агент» мировой буржуазии, а еще точнее, английских колонизаторов, — почти не пользовался одеждой. И к тому же требовал добиваться независимости Индии мирными средствами, никого не убивая и не ликвидируя. Вот уж действительно наглая вылазка врага. Может ли «агент» быть опаснее и страшнее?

Уважаемые исследователи! Посмотрите советскую прессу двадцатых годов, и вы увидите «агентов» буржуазии в рядах рабочего класса. Всяких там социал-демократов, ренегата Карла Каутского и, конечно же, его — Махатму Ганди. Ах, попадись он в руки нашему Бате. В наши славные органы...

В середине тридцатых годов начали появляться карикатуры на Гитлера, Геббельса, Муссолини, Франко, Араки и Хирохито. Все понимали, что война неизбежна, и не с европейскими демократами, а с фашистской Германией.

И вдруг — как гром среди ясного неба! В Москву прилетел один из фашистских главарей — Риббентроп. Все повернулось на сто восемьдесят градусов. Молотов поехал в Берлин. В «Правде» появилось фото: Гитлер, нежно улыбаясь, держит Вячеслава Михайловича Молотова за локоть. Состоялся обмен телеграммами между Гитлером и Сталиным (очаровательные мальчишки!). Текст Гитлера не запомнил. Но, живя в СССР и постоянно «повышая» свой моральный и идейно-политический уровень, ответ Батюшки помню по сей день: «Дружба между СССР и Германией скреплена кровью и имеет все основания быть длительной и прочной».

«Длительной и прочной». Ну, не ясновидец ли наш «великий и мудрый»? А вскоре, 22 июня 1941 года, в двенадцать часов по радио выступил Молотов и сказал, что «фашистская авиация подвергла бомбежке города: Киев, Гомель, Житомир». Началась война. Ровно через

месяц вражеские самолеты начали регулярно сбрасывать бомбы на Москву. Если считать, что занятая противником территория фактически принадлежит ему, то сбылось «предсказание» нашего славного наркома обороны маршала Ворошилова: «Бить врага на его территории». До войны эти «пророческие» слова красовались везде и всюду.

Внешне жизнь консерватории оставалась прежней. Шли переводные экзамены. Студенты задавали педагогам обычные вопросы: «Как я играл (или играла)?» 23 июня в Большом зале консерватории состоялся объявленный концерт симфонического оркестра консерватории. Аспирантка Григория Гинзбурга играла Концерт Д. Кабалевского. Было маскировочное освещение и довольно много публики. В тот вечер погода была прохладной и дождливой. И Григорий Гинзбург извинился перед служителем вешалки, подавшим ему плащ: впервые он ничего не сунул ему в руку. Дело в том, что сразу появился приказ: вкладчикам сберкасс выдавать не более двухсот рублей в месяц. Мизерная сумма. Стипендия была от ста пятидесяти до двухсот рублей. Люди устремились в магазины закупать продукты. Прилавки опустели. А продукты появились снова. И очередей не стало. До самого знаменитого дня, 16 октября, в Москве с продовольствием было нормально.

30 июня в Малом зале состоялось общее собрание. Председательствовал профессор Абрам Борисович Дьяков. Замечательный музыкант-пианист. В предвоенный год я проходил в его классе камерный ансамбль. Дьяков был человеком большого мужества, благородства и доброты. Получив зарплату, он запросто покупал десять-двенадцать чеков на обеды и раздавал студентам. Как многие в те времена, он был идеалистом и верил в лозунги коммунизма. Да и мы, молодежь, тоже верили в это свято. На собрании он объявил, что создается добровольное ополчение для сражений с фашистами на улицах Москвы. Сказав, что записывается первым, Дьяков призвал всех последовать его примеру. У входа в зал образовалось несколько очередей. Записались все присутствовавшие.

В военных сводках появилось Смоленское направление. Я получил извещение, что 3 июля в десять часов утра мне надлежит явиться в консерваторию, имея при себе питание на три дня, ложку, легкое одеяло и т. д. В 9 часов утра объявили, что товарищ Сталин выступит с обращением к народу.

Он начал: «Дорогие братья, сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Часто обрывал фразы, нервно глотал воду. Его выступление усугубило общую обеспокоенность и вместе с тем вызвало какие-то надежды.

В десять часов утра я уже был в консерватории, откуда нас повезли на Красную Пресню. Поздно ночью, заполнив товарные вагоны, мы поехали в сторону Смоленска. Из консерватории было около пятидесяти человек. В вагонах с нами находилась группа студентов Юридического института и МГУ. Назавтра, к вечеру, мы выгрузились у домика с двумя-тремя сараями. Это называлось «станция Митино». Начался дождь. В сараях не хватало на всех места. Утром мы тронулись в путь. Сыро. Земля — сплошное месиво. Трудно идти, и пищевые запасы заканчивались. Все стали похожи на «робинзонов». Наконец, еле волоча ноги, мы добрались до деревни Беломир и мгновенно свалились в первых же сараях. Спали долго.

Потом нам выдали разные, даже негодные, лопаты, и мы начали копать противотанковые рвы. Работали с семи утра до восьми вечера, с перерывом на час. Организованного питания не было. Как-то устраивались сами, но постоянно были голодны. Так мы переходили из деревни в деревню месяца два. Однажды кто-то прибежал, запыхавшись, и сообщил, что в деревне Беломир расположилась Краснопресненская дивизия и в ней много консерваторцев. Мы бегом туда. Приближаемся и слышим звуки духовых инструментов. Будто летний сезон в саду.

Первым, кого я встретил, был профессор Дьяков с винтовкой на плече. Мы расцеловались. Он спрашивал, я отвечал. Им начали раздавать солдатский обед: борщ и мятый картофель. Роскошь по тем временам. Он заставил меня есть из его котелка. Так, полусидя, полулежа на траве, мы по-солдатски обедали. Дьяков был бодр, говорил, что за ними стоят еще четыре армии и все будет хорошо. Рассказывал, как, попросив разрешения выйти из строя, сказал командиру взвода или роты (точно не помню), что тот издевается над людьми. Такое было возможно только в той «дивизии» и ситуации. Свидетельствую, как

прослуживший в армии на войне более трех лет.

Прошел мимо с котелком концертмейстер Ойстраха Всеволод Топилин. Я ему говорю: «Вы не изменились». Он снял пилотку... Совершенно седая голова. Позже я немного походил, рассматривая так называемую Краснопресненскую «дивизию». Московская интеллигенция. Очкарики. При них чехословацкие винтовки из города Брно, со штыками, как мечи. Рядом стояла их артиллерийская батарея из четырех пушек. Такие я видел в кино у батяки Махно.

И им предстояло остановить танковые колонны Гудериана и Клейста. То есть не только авиации, но и традиционных *тульских* винтовок не было. Я понимал, что у этих театральных винтовок даже калибр другой. И запел про себя самую популярную тогда песню:

*Если завтра война,  
Если завтра в поход,  
Будь сегодня к походу готов.  
На земле, в небесах и на море  
Наш ответ и могуч и суров.*

Скорее всего, я был невменяем. Мне стало жутко. Позже, на фронте, даже в моменты страха я не испытывал такого пессимизма. Я был в шоке и потому пел. Песня стала частью общей пропагандистской лжи. В песнях мы побеждали. Преодолевали все трудности. Жили как в раю. В песнях оказались на луне. Песня — одно из средств очковтирательства с привлечением более половины профессионалов на самодеятельные показы. Песня вывела самодеятельность на профессиональную сцену в виде множества ансамблей песни и пляски. В начале шестидесятых годов в одной из программ Аркадия Райкина были такие слова: «Ребята! Зачем вы на улицах песни орете? Идите к нам на сцену, мы вам за это платить будем». И сегодня песня продолжает «свое дело».

Но вернусь к тем дням. Из консерватории на рытье рвов больше никого не посылали. Мы же — примерно пять тысяч московских студентов и старшеклассников — оказались в районе Вязьмы. Однажды ночью нас срочно подняли и повели неведомо куда. Шли до утра, почти без передышки. Уже не было сил идти. Гудели ноги. Мучила жажда. Днем остановились у какого-то озера. Оно было прозрачным, и мы пили его воду. Всех нас могли перестрелять несколько немецких автоматчиков. Как потом стало известно, этот трудный переход был просто бегством. Дело в том, что сброшенный немецкий десант артистично, без единого выстрела взял город Ярцево. Еще вечером там проходили собрания. Говорили о прочности положения, текущих задачах и т. д. А утром, глядя в окна, жители увидели немецких регулировщиков и поток машин. Кажется, так же был взят на Украине город Конотоп. Такой артистизм — взятие городишка десантом, без выстрела — немцам удавалось проявлять в самом начале войны, пользуясь отсутствием организованности, разбродом и суматохой.

Постепенно и у начальства, и у простых людей растерянность начала уступать место осознанию сложившейся ситуации. Стали появляться разумные приказы. В том числе подписанный начальником телеуправления генерал-полковником Щаденко о возвращении из армии студентов-дипломников в свои ВУЗы. К тому времени мы уже добрались до Вязьмы, и оттуда не только дипломники, но и все юнцы в обычных вагонах приехали в Москву. Несмотря на следы бомбардировок, железная дорога действовала нормально. Москва нас встретила тишиной и спокойствием. Меньше машин и пешеходов. Везде чистота и порядок. Витрины многих магазинов прикрыты мешками. В небе парили аэростаты воздушного заграждения, а на улицах часто встречались люди в военной форме.

Старейших деятелей искусств — Немировича-Данченко, Гольденвейзера и других («золотой песок», так шутили) — эвакуировали в город Нальчик. А оттуда, слава Богу, в Ташкент. За директора консерватории остался бывший заместитель по учебной части Григорий Арнольдович Столяров. Консерватория стала местом, где можно было с кем-то встретиться, поговорить и что-то узнать. Нас туда тянуло, и весь день мы находились там.

В начале июля 1941 года, после отъезда нашей группы «землекопов», абсолютно всех консерваторцев, включая Ойстраха, Гилельса, Гинзбурга, Григория Когана, Зака и других в возрасте до пятидесяти лет, взяли в ополчение для прохождения военной подготовки. Жили они в одной из школ на Красной Пресне. Спали на полу, вскакивали «по подъему», хлебали из

котелков и т.д. Выдерживали полную солдатскую нагрузку. Один студент, назначенный командиром отделения, довольно слабый скрипач, всегда заставлял чистить туалет только всеми уважаемого профессора скрипки Я. И. Рабиновича и доцента М. Б. Питкуса. Видимо, они не угодили ему на экзамене. Однажды на занятиях по строевой подготовке кадровый лейтенант, объясняя, как *сиде дирижировать у походе*, подошел к Григорию Когану и сказал: "А на девочек не заглядываться". Начался повальный хохот. Чтобы это попятить, надо было видеть Когана в пенсне.

Постепенно стали отзывать наиболее известных музыкантов и с военной подготовки в Москве, и с дороги к фронту. Убежден, что это была заслуга А. Б. Гольденвейзера. Дьяков, получив приказ, категорически отказался возвращаться в Москву.

Немцы перешли в наступление, и дивизии фактически безоружной, необученной московской интеллигенции оказались один на один перед танковой мощью армии врага. Их смяли. Раздавили... Почти все оказались убиты или попали в плен. Некоторым удалось бежать. Дьякова расстреляли первым, а потом солиста радио певца А. Окамова, хормейстера Г. Лузенина и композитора К. Макарова-Ракитина. Те, кто остались в живых, досиживали свое уже в ГУЛАГе, как, например, пианист Всеволод Топилин. Лет через пятнадцать после войны мы случайно встретились за праздничным столом у общих знакомых в Донецке и всласть наговорились. Он, уже отбыв срок, работал в Харькове, где, пожалуй, был самым авторитетным музыкантом. Позже он переехал в Киев, где и умер.

В консерватории занятия почти не проводились, но жизнь была ключом. В основном у входа, возле раздевалки и в студенческом буфете. Обсуждались разные новости, вопросы эвакуации и прочее.

Фронт приближался к Москве. Каждый следующий день был хуже предыдущего. Я и мои друзья — скрипачи Марк Червоненко, Володя Кружков и виолончелист Леня Гольдберг — решили держаться вместе. Мы без конца обсуждали могущие возникнуть перед нами сложности, в том числе и возможность встречи с теми, кто намерен выполнить свой «интернациональный долг». При пас постоянно были довольно грозные ножи.

Еще недавно малолюдная, спокойная Москва превращалась в сплошную суету. Улицы, площади — все было заполнено взволнованными людьми. Чувствовалось приближение фронта. Спокойно ожидавшие этого события москвичи постепенно и уверенно нагнали.

В доме на углу улицы Горького и проезда Художественного театра перед коктейль-холлом была столовая. Я зашел туда пообедать. За столом сустились две или три официантки. Они обслуживали клиентов, меня же не замечали. Иногда я обращался к ним, они не отвечали. Пришлось уйти. Было предельно ясно, что без обеда я остался не потому, что похож на еврея, а потому, что все евреи похожи на меня.

## БЕГСТВО

С 1937 года жизнь страны определяла повышенная «бдительность», доведенная до предела. В праздничные дни мая и ноября во всех учебных заведениях, включая консерваторию, были установлены ночные дежурства. Каждый ребенок знал, что в ходе победоносного шествия к социализму классовая борьба внутри государства усиливается. Но весь ужас заключался в том, что «внутренних врагов» становилось все больше и больше, и борьба наших славных следственных органов велась против них. На границе ситуация резко изменилась. Там вместо панской Польши Пилсудского уже расположились наши друзья, немцы. В Германию шли эшелоны с зерном и прочим добром. Даже морально-политический подарок сделали: возвратили фашистам прямо из рук в руки группу (до ста человек) немецких коммунистов. Поиграли в Коминтерн, и хватит. Передавали их на пограничном мосту. Они почему-то были недовольны. Как будто им не вес равно, в каком лагере погибать! В итоге: внутри страны — повышенная бдительность, а на границе — сплошная блажь, пикники, любование природой. И когда посол Германии Шуленбург сообщил Молотову о войне, тот ему совершенно справедливо ответил: «Мы этого не заслужили». Действительно, некрасиво получилось, не по-компанейски.

В конце сентября шла срочная эвакуация ценных специалистов и семей начальства из Москвы. На Казанском вокзале было вавилонское столпотворение. Еще до того, в августе, а

возможно, в июле, начали вывозить отдельные заводы, институты и т. д.

Мы с отцом договорились в любом случае узнавать друг о друге через наших знакомых в Свердловске. После первых бомбежек Москвы мои родители выехали в этот город из-за моей сестры, страдавшей врожденным параличом нервной системы {болезнь Литля). По возвращении из-под Смоленска, а точнее, из города Вязьмы, я жил один. Но был в самом тесном контакте с друзьями, находившимися в Дмитровском общежитии, неподалеку от меня. Они, как студенты-дипломники, возвратились из ополчения и даже из военных училищ согласно приказу Щаденко.

В сводках информбюро одно направление сменялось другим. Фашистская армия приближалась к Москве. Страшнее всего было то, что, начиная с 1939 года, никто еще ее не остановил. Теперь она двигалась к нам. Об этом постоянно говорили и думали. Сама логика происходящих событий становилась ужасной. Контрасты среди москвичей выступали все более и более отчетливо. Лица людей, торопящихся, обеспокоенных, взволнованных... и спокойные, уверенные лица. Последние ждали. Один талантливый струнник в Дмитровском общежитии скупал по дешевке вещи у своих товарищей. Ни на какие повестки из военкомата он не реагировал. В послевоенные годы его отец был значительным партийным чиновником в музыкальном мире.

Беспокойство, озабоченность перешли в тревогу. Все были в напряжении. И я, взяв небольшой запас кускового сахара, сухари и смену легкой одежды, вскинув рюкзак, ушел из нашей квартиры в Дмитровское общежитие. Ждать долго не пришлось. В тот же вечер, 15 октября 1941 года, между 22 и 23 часами появились директор Столяров и парторг Шурьев. Как всегда, Шурьев присутствовал, Столяров говорил. Очень четко, ясно: «Товарищи, слушайте по радио, в каком направлении пешком покидать Москву». Опасность делает людей бесцеремонными. Его тут же спросили: «А вы?» И он, как опытный демагог, ответил: «А мы [то есть он и Шурьев]? До скорой встречи в Москве или Берлине». Через два дня мы встретили их в Горьком.

Итак, перед нами, студентами консерватории, стоят директор и парторг, может ли быть выше? А мы, вместо того чтобы слушать радио, мгновенно умчались в консерваторию. Нас тянул туда рефлекс. Прибегаем. У входа дежурные. В форме, абсолютно спокойно, с наганом и глупой физиономией сидит слушатель военно-капельмейстерского отделения. Тут же плачущая, мечущаяся из угла в угол студентка-дирижер Вера Родэ. Она сказала: «Звонили из райкома. Москву оставляют. С Курского вокзала уходит последний поезд, где будет для консерватории пятьдесят мест — только для самых активных коммунистов и комсомольцев». Гольдберг *тут* же отрубил: «Значит, там уже не менее пятисот человек». Нужно любой ценой добраться как можно скорее на Курский вокзал.

Выбежали. Мне поручили остановить машину. Они довольно часто идут без маскировки. Я вышел на мостовую и ору: «Сто рублей...» Так дошел до тысячи двухсот, но машины шли мимо. И вдруг чудо! Смотрю и не верю своим глазам. Это был трамвай № 31. В те времена по улице Герцена громыхал трамвай. Его маршрут был до Курского вокзала. Я закричал: «Мара! Лепа! Володя!» Сверху зеленый, синий свет. Мы вскочили. Вагон пустой. Сидит только один из авторитетнейших профессоров консерватории — историк М. С. Пекелис, автор многих книг по русской музыке. Абсолютно без ничего. Только авоська в его руках, а в ней каравай хлеба и рулон колбасы. Я к нему. Он, не дожидаясь, говорит: «Катастрофа! Мне звонили компетентные люди с завода имени Сталина. Сказали: "Уходите как можно скорее, город сдают". С Курского вокзала отправляется последний поезд». На остановке «МГУ» входит растерянный, ничего не видящий перед собой, со свежепоцарапанным носом, молодой педагог, талантливый пианист Эммануил Гроссман. Он всегда был как ребенок, и все звали его Эммик. Спрашивает: «Консерватория эвакуируется?» Глупее вопроса не придумать. Гроссмана сопровождал молодой парнишка, сын руководительницы Центрального детского театра, режиссера Наталии Сац. Он решил остаться в Москве, партизанить. А она уже была «на месте», то есть репрессирована, в ссылке.

В зале ожидания Курского вокзала абсолютно спокойно и совсем мало людей, как в хорошие довоенные дни. И вдруг по репродуктору: «Работники Наркомата судостроительной

промышленности и Комитета по делам искусств, пройдите на пятую платформу».

Мы попали в пригородный, то есть сидячий вагон. Там уже находился известный профессор скрипки Л. М. Цейтлин и его ассистент Марк Затуловский с родителями. Кто-то еще. Абсолютная тишина. Слышно дыхание присутствующих. Каждый при своих тяжелых мыслях, но рад тому, что попал в отходящий поезд. Двери нечасто, но открываются: входят один или два человека. Вдруг четко, громко картавое: «Вы дура, Софа». Все оглянулись. Появился профессор Григорий Коган с женой. У них взрослый сын, но они только на «вы».

Наконец, поезд тронулся. Измученные, издерганные, предельно утомленные «пассажиры» сидя проспали всю ночь слаще, чем вытянувшись в своих кроватях. Проснувшись утром, увидели идущие вагоны московского метро, наполненные людьми. Стало тягостно. К тому же возникла проблема: пить. Ведь одна мысль гнала всех: только не опоздать... только успеть. И вот теперь мучила жажда. Казалось, каждый отдаст все за стакан воды. Наконец, остановка. На станции есть кипяток. Но далеко не у всех имеются кружки, чашки. Мы — четыре барана — в деталях все обсуждали, холодное оружие раздобыли, но популярную тогда шуточную песню Дунаевского, что «без воды ни туды и ни сюды» забыли. К счастью, на станции была еще вода холодная и кружка на цепочке. Мы хлебали ее литрами. Уже не лезло, но следовало запастись на всю дорогу.

Волей случая мы оказались в одном поезде с председателем Комитета по делам искусств Храпченко. Министр, а удирает на равных с нами. Его соседи по вагону рассказывали, что он был почти без вещей. В нашем поезде ехал даже один из членов ЦК. Придя в себя, он ходил по вагонам, читая успокоительную лекцию. Это было уже после Горького. Говорил, что из Америки пойдут большие поставки оружия, в том числе сорок тысяч самолетов. Победа будет за нами и проч.

Но сам факт, что этот член ЦК сбежал так же, как мы, вносил элемент опереточности во все его рассуждения.

#### **МОСКВА, 16 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА**

После нашествия Наполеона это был, думаю, самый исторический день для Москвы. Разбитые витрины магазинов. На тротуарах и мостовых — раскрытые чемоданы, одежда, кастрюли, подушки, матрацы, посуда и всевозможная утварь. Никаких стражей порядка. Анархия. Полный хаос. Да было ли так? Или это вражеская пропаганда, измышления эмигранта-отщепенца? Не было такого, как не было никогда Льва Троцкого, Беллы Давидович и т. д., и т. д., без конца.

Этот страшный день, день отчаяния, всеобщего грабежа и абсолютной беспомощности начался 15 октября вечером. Когда директор и парторг заявили нам, что из Москвы будут уходить пешком, мы примчались в консерваторию и узнали, что дежурной сообщили из райкома партии нечто подобное. А в поезде слышали, что информацию эту подтвердили и другие источники: от завода имени Сталина до Академии наук. Такое быстро становится общеизвестным.

Утром начался массовый грабеж квартир эвакуированных, а потом магазинов и складов. Никто не мешал. Полное безвластие.

Смешной эпизод. Один студент консерватории служил в войсках МВД. Когда их послали наводить порядок, он влез в разбитую витрину фотоателье и снял портрет Розы Тамаркиной, в которую был без памяти влюблен. Лейтенант увидел: «Шо за баба? Брось!» Он в ответ: «Сестра». В общем, отстоял. А ведь это фотоателье находилось между Елисеевским магазином и булочной Филиппова. Что же тогда осталось от других магазинов?

Витрина фотоателье — результат общей стихии, инерция грабежа. Подумать только: улица Горького, самый центр Москвы. Недалеко Кремль. Разумеется, в Кремле еще находилась «королевская гвардия». После войны нам сказали, что это был «план великого стратегического отступления». Заманить врага, чтобы затем уничтожить. Особенно успешно его осуществили на Украине. Как хорошо, что враг оказался хитер, и его не удалось заманить до Хабаровска. Всевластные тираны бывают иногда наивны. Ведь живы люди, перенесшие хаос, кошмар, панику, едва уцелевшие. А им твердят о «Великой Стратегии». Благо, есть опыт. Шедшим в атаку после речей Троцкого внушали, что его не существовало. Всегда,

всюду был только Батя. Думаю, что одолей Троцкий Сталина, он был бы не лучше.

Жизнь продолжается. Поколения уходят. И забудется один из самых жутких дней в истории Москвы. 16 октября 1941 года. Много в памяти блекнет или стирается. Что-то не забывается. Но есть такое, о чем не перестаешь думать. Что же было в действительности? Где же правда?

В тот день я находился в дороге. Но будь я в Москве, все осталось бы таким же неясным.

После войны мне часто приходилось слушать рассказы переживших 16 октября в Москве, от уборщиц до известных в среде интеллигенции людей. По-разному они говорили об одном и том же.

Напрашивается аналогия. Осажденная Одесса была оставлена, когда находилась уже глубоко в тылу противника. Эвакуация шла морем. Последним уходил крейсер «Коминтерн», набитый людьми, как бочка сельдями. Одессу оставили. И целые сутки немцы не входили в город, опасаясь западни. В отличие от Одессы Москва была на линии фронта – Химки были уже у немцев. И то, что официальные лица, начальство говорили на предприятиях, заводах, в учреждениях и т.д., подтвердилось происшедшим 16 октября.

Возможно, причиной была немецкая методичность. Пройдя победным маршем через Европу и Украину до Москвы, выученики Мольтке были сверхсамоуверенными. По-нашему говоря, «зазнались». И, очевидно, считали, что дело сделано, и завершение можно оформить спокойно, обстоятельно, педантично. Но слово «педантично» к России неприменимо. Образовалась передышка, возможность прийти в себя, одуматься, принять меры. Может быть, к этому времени подошли сибирские дивизии. А немцы как-никак выдохлись. Не исключено и такое... Но на том «blitz Krieg» закончился. Впервые всеокрушающая, неодолимая армия Гитлера была остановлена. Как долго ждали этого народы Европы! Позже немецкий военный специалист генерал-лейтенант Типпельскирх в книге, изданной в СССР, писал: «Битва под Москвой решила исход войны. Продолжение ее было только результатом железной воли Гитлера». Согласиться ли с этим? Ведь позже немцы дошли до Волги. Произошло еще одно чудо. Оно и решило исход войны. Немецкий военный историк Клаузевиц писал: «В Россию легко войти, по из нее очень трудно выйти». А великий немец Отто фон Бисмарк постоянно предупреждал: «Не лезьте в Россию!» — уж больно велика Матушка.

Пусть мои рассуждения неверны или наивны, но факт остается фактом: никогда не было даже попытки объяснить события в Москве 16 октября 1941 года. Мало того. О них никогда и нигде не упоминается. Обычный календарный день военных лет, 16 октября 1941 года. Партийно-государственный «склероз» охватил всю историю России. К нему привыкли. Он вошел в нашу жизнь.

Но сейчас гласность, Все меньше «белых пятен». Возможно, кому-то поручат осветить тот памятный день. Впрочем, подлинную правду узнают поколения, идущие за нами.

P.S. Дописываю, просмотрев по телевидению из ГДР фильм «Битва за Москву». Сталин там уже не обаятельный мудрец, как у М. Чиаурели и М. Геловани, а страшный и неприятный. Исторически правдиво, начинаешь верить. На протяжении фильма всплывают даты: день, время и место действия. И вот читаем: Москва, 16 октября 1941 года.

Москва... После этого большого слова мы видим обычно на экранах, открытках, буклетах известные, полюбившиеся всем улицы и здания столицы. В кинофильме «Битва за Москву» их нет. Вместо этого — заполнивший улицу (неизвестно какую) стихийный поток людей, покидающих Москву. Значит, не пришло еще время показать безвластие, анархию, грабеж, безлюдную Москву второй половины дня (то есть после грабежа) и смотрящих в окна москвичей, убежденных, что вот-вот появятся немцы...

Десятилетиями москвичи вспоминают 16 октября. Их память оказалась крепче и яснее, чем у пропагандистов. Невозможно обойти эту дату'. И где-то наверху решили: пусть 16 октября наконец-то станет официально признанным днем, но в приемлемом для властей плане. Авось сойдет.

Нет, правда еще не открылась. 16 октября 1941 года в Москве остается загадкой.

**БЕГСТВО**  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

После отличного сна (я говорю это серьезно), перекусив и вдоволь напившись горячей или холодной воды, люди постепенно приходили в себя. Стали ходить из вагона в вагон, встретили еще консерваторцев, известных деятелей театра, и даже самого главного тогда начальника — товарища Храпченко.

Выяснилось, что в Горьком будет пересадка на Саратов, Молотов [ныне Пермь] и Свердловск. Наконец, прибыли в Горький, где встретили на вокзале Столярова и Шурьсва. Московская консерватория направлялась в Саратов. Я решил ехать в Свердловск, где находились мои родители. Профессора Коган и Пекелис тоже, по каким-то своим соображениям, выбрали Свердловск. Мы пересели в нормальный плацкартный вагон. Я влез на третью полку. Там, с другой стороны, уже лежал режиссер Ю. Завадский. Внизу — известная актриса В. Марецкая с их сыном Юрой и дочкой Машенькой от нового брака. Завадский ехал в Молотов, где была его жена, балерина Уланова, и находился Ленинградский оперный театр. Коган, Пекелис и я держались вместе и, как говорится, хлебали из одной миски. До Свердловска добирались дней семь-восемь. Помню, на станции Шахунья нам дали горячий суп. Такое не забудешь, так как питались мы только хлебом, сахаром и картофелем, который я пек в печке, обогревающей вагон.

Добрались мы благополучно и на следующий день встретились в консерватории. Директором ее был киевский пианист, профессор Абрам Михайлович Луфер. В Свердловске тогда оказались почти все музыкальные знаменитости, в том числе прославленный профессор Столярский.

Я был учеником Григория Когана. Мы часто встречались вне консерватории. Однажды на Свердловском почтамте он сказал мне полушепотом: «С Нейгаузом неблагополучно». Нейгауз провел па Лубянке девять месяцев. Потом ему запретили оставаться в Москве, и он приехал в Свердловск, уже в мое отсутствие.

Причудливы повороты судьбы. Здесь, в Германии, бывший ассистент Нейгауза Леонид Брумберг с его слов рассказывал мне, что его четыре раза водили на расстрел. Очевидно, в порядке психологической пытки. Если бы они хотели расстрелять человека, то, несомненно, выполнили бы это.

Тогда, в Свердловске, я был мобилизован и, прослужив в очень тяжелых условиях в запасном полку три месяца, в составе маршевой роты уехал на фронт. А до отъезда, вечером, узнав, что нас отправляют, тут же позвонил из автомата в общежитие консерватории. Оттуда сообщили моим родителям, и отец, приблизительно зная маршрут из полка на вокзал, пошел в надежде увидеть меня. Заметив вдали шагающую роту, он направился к ней. Наши взгляды встретились. Мы продолжали идти: рота по мостовой, отец по тротуару. Это привлекло внимание командира, и он жестом руки указал мне идти к отцу. Теперь мы оба двигались параллельно строю, держась за руки, почти не разговаривая. Да и о чем было говорить?..

Все знали, что нас направляют в район Сталинграда. Слово, произносившееся в то время чаще всех других. Это происходило в начале ноября 1942 года. Отцу разрешили проводить меня до самой теплушки (товарный вагон). Мы поговорили. Я настоял, чтобы он вернулся домой.

Неожиданно резкий толчок дернул поезд. Один за другим застучали вагоны. Воцарилась тишина. Состав медленно тронулся. Мне показалось, будто меня оторвали от семьи и всего прожитого. Какой путь нужно пройти и какое должно произойти чудо, — подумал я, — чтобы благополучно возвратиться к тому, что оставил. Лишь много лет спустя, став в свою очередь отцом, я понял его тогдашнее состояние и мысли.

Парадоксально, но психологически я себя чувствовал наиболее спокойно, будучи на фронте солдатом. Запомнились изнуряющие походы через Донские степи в жестокие декабрьские морозы. С четырех-пяти вечера до восьми-девяти утра мы шли с короткими привалами тут же, на *снегу*. Оказавшись в избе, мы тотчас валились с ног. Горели ноги, а в обуви все было примерзшим. Я был солдатом саперного батальона, и никого не удивляло, когда не удавалось уснуть по двое суток, а иногда и более. Глаза мутные, двигаешься шатаясь. Оглушающие, вызывающие шок взрывы, предельная усталость, невозможность согреться в лютые морозы, постоянное недоедание и многое, многое другое не оставляло места для



размышлений и уравнивало интеллигента и безграмотного мужика. Мы — солдаты. А у солдата на войне только две мысли: еда и сои. Более двух, максимум трех дней никто не сможет продержаться на линии огня. Он будет убит или ранен.

Тернистый путь остается тернистым. Я был ранен, потом контужен. Четыре раза оказывался на волоске от смерти. Состояние, когда удивительно четко, как панорама, перед тобой разворачивается прожитая жизнь.

Вот так в начале войны сложилась судьба Московской консерватории и одного из ее студентов. Одного из ее солдат.

## В ЭВАКУАЦИИ

В годы войны некоторые музыкальные и театральные коллективы были эвакуированы в глубь страны. Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио (в нем играл мой отец) во главе с Александром Ивановичем Орловым находился в Свердловске. До войны Орлов считался лучшим аккомпаниатором и сопровождал симфонические выступления Хейфеца. Внешне он напоминал русского барина: высокий, холеный, с бородкой и румянцем. Был мягким, добрым, простым, что не совсем обычно для дирижера. Ходила молва, что он привез жену и чемодан с деньгами. Гольденвейзер говорил: «С Орловым играть, как за горой от ветра».

Московская консерватория расположилась в Саратове, а Ленинградская – в Ташкенте. Сначала было очень трудно. В фойе Свердловской филармонии эвакуированные получали тарелку пшенной каши на воде и ложечку сахара. Его сыпали в середину – получался десерт. Позже стало лучше, питание давали по тем временам довольно приличное.

Свердловск напоминал огромный улей. Гостиницу «Урал» наводнили важные персоны и знаменитости (в их числе Буся Гольдштейн). В городе находились Ойстрах, Гилельс, Флиер, Тамаркина, легендарный Столярский и другие. Основной проблемой было не жилье (хотя приезжие ютились, где могли), а еда. Продукты питания нормировались, и только простояв в очереди несколько часов, можно было что-нибудь раздобыть. Обычно последним ничего не доставалось.

Вскоре регулярные, я бы сказал, частые симфонические концерты стали привычным делом. В антрактах у буфета выстраивалась очередь за мучным изделием весом в 100-150 граммов. Оно называлось бисквит и выдавалось по одному на билет. Позже, при кассовых аншлагах, в зале сидели только пятьдесят-шестьдесят человек с сумками. Некоторые из них исчезали после антракта. И тогда установили порядок, выдавая один бисквит в одни руки. В зале появилась публика.

Но в антракте вес мчались в буфет, и после хорошо организованной быстрой распродажи начиналось второе отделение. Такова была концертно-бисквитная жизнь в Свердловске в первый год войны. К слову, оркестранты получали по два бисквита и бутылку сидро.

Волей судеб в консерватории оказались профессора из других городов. Самым ярким был Петр Соломонович Столярский. Крупнейший скрипичный педагог нашего века. Натан Мильштейн — его ученик. Из трех блиставших до войны в Москве скрипачей двое — Давид Ойстрах и Самуил Фурер — учились у Столярского, а третий — Борис Фишман — у Цейтлина. Прославились и юные ученики Петра Соломоновича — Лиза Гилельс и Миша Фихтенгольц. Все знали, что гениальный ученик Ямпольского Буся Гольдштейн ранее занимался у Столярского. Популярности Петру Соломоновичу добавляла его манера говорить.

Среди студентов консерватории были и одесситы: виолончелист Сема Гранит (позже концертмейстер Московской филармонии) и пятнадцатилетний Миша Унтерберг, последний талантливый ученик Столярского. В консерватории училась вокалистка из Минска Вера Борисенко. Такого голоса, как у нес, я не слышал ни у кого. К тому же она была хороша собой. К сожалению, меньше всех свой голос ценила сама певица. Из-за отсутствия табака тогда употребляли всякую отраву. Выращивали заменитель, так называемый «самосад». И Вера курила эту мерзость. Никакие уговоры не помогали. Ей явно не хватало серьезности. Думаю, что только по этой причине солисткой Большого театра она была недолго.

Под руководством Столярского Миша Унтерберг, Сема Гранит и я играли Трио

Чайковского. А позже Столярский готовил с Мишей программу скрипичного вечера. Начиналась она с обязательного «Романса» Бетховена. Столярский видел, что пятнадцатилетний Миша, а заодно и я ждали, как бы скорее дорваться до Паганини и Венявского. Однажды он остановил нас и сказал: «Миша! И сколько вещей ты играл, и сколько еще будешь играть, лучше вещи, чем "Романс" Бетховена, ты играть не будешь. Ты понял? Нет, скажи, ты понял?» Конечно, следовало сказать «да».

Он часто требовал повторения отдельных мест из программы. Но «Романс» Бетховена мы обычно играли по два раза целиком. Столярский смаковал эту музыку. Любовался ею. Главным для него была широта дыхания, значительность фразы и каждой ноты. В итоге получалось Величие. Царство покоя. Его увлеченность музыкой передавалась другим.

На вопрос, что такое талант, есть много правильных ответов.

Вспоминая свои встречи с полярно противоположными людьми в музыке, я бы сказал: талант — это отсутствие скуки. После уроков Столярского я уходил, наполненный образами музыки, внутренне спокойный, и словно бы отключался от поглощавших всех нас тягот.

Самое невероятное, что его образы, сравнения должны были бы только удивить и рассмешить. Но все сказанное им воспринималось абсолютно серьезно.

Гольденвейзер приводил на уроках интересные примеры и сопоставления из разных видов искусств, науки, даже физики. Нейгауз всегда обращался к литературе и архитектуре. Кажется, это он сказал, что «архитектура - это застывшая музыка». Оба они часто играли. Гинзбург впечатлял учеников логикой и личным показом.

Столярский приводил в пример вареники, бульон и лапшу и т. п. Он никогда не играл на уроках. Один его ученик рассказывал мне, что однажды, увлекшись, он взял скрипку, наиграл и сразу же вернул ее, сказав сердито: «Так не надо».

И все же он добивался поразительных результатов. Название тому - «гений». В нем природой были заложены высокая музыкальная культура и безупречный вкус.

В книге об Ойстрахе большой знаток скрипичного искусства И. М. Ямпольский писал: «Появившись в Москве, Ойстрах удивил всех прежде всего изысканным исполнением миниатюр. Москвичи играли грубее».

Культура и вкус — отличительная черта всех учеников Столярского. Ойстрах пришел к Столярскому в пятилетнем возрасте и от него вышел па эстраду. Больше никто его не учил. В этом еще одна уникальнейшая особенность, присущая только Столярскому, больше никому.

Он закрывал крышку пианино, положив на нее не то игрушку, не то инструментик, и говорил малышу: «Сделай брать скрипку». Рассказывали, что с одного взгляда он определял, получится из малыша скрипач или нет. Жизнь полностью подтверждала его предсказания.

Все для него важное он выговаривал в мужском роде. Цитирую: «Он этот фраз так сыграл, что я всю ночь напровал не спал». Или: «Играй этот этюд каждый день, час, и у тебя будет хороший техник». Или «сонат» вместо соната. Я сам неоднократно слышал это.

Большой радостью для Столярского были письма учеников. Думаю, что он никому не отвечал. Мог ли он писать, если так говорил? Книгу в его руках я себе не представляю. Разве что газету, ради интереса к рецензии на концерт исполнителя, не больше.

Столярский был обаятелен, приветлив, остроумен. Во время концерта мы что-то сыграли малость быстрее. Он подошел к эстраде, сказал тихо: «Не спешите заканчивать программу». Он — единственный в СССР, чье имя было присвоено учебному заведению. Тем не менее важность и самолюбование в нем отсутствовали. Его высказывания всегда воспринимались с интересом. Разумеется, темой была скрипка. Сыпались бытовые шутки. Без них он не обходился.

Однажды в детстве мне пришлось играть в Харькове, в те годы столице Украины. Он спросил: «Сколько тебе лет?» Я ответил: «Тринадцать». «Так ты уже целый кавалер», — сказал он.

Понимание такого уникального явления, как Столярский, пришло с возрастом.

Он оставался местечковым евреем черты оседлости. Но очень интеллигентным в общении и в быту. Его врожденный дар сверкал в нем, несмотря на отсутствие образования. Его непререкаемый авторитет и всеобщее признание заглушали мысль о том, кем бы он мог быть,

получив блестящее образование. Но и так он стоял рядом, если не выше, с ведущими профессорами Москвы и Ленинграда, отличавшимися высокой культурой и глубоким интеллектом и постоянно общавшимися с прославленными и даже великими музыкантами.

На конкурсе 1933 года его ученики выделялись среди других мастерством правой руки. Его спросили, как он добивается подобных результатов. Столярский ответил: «Я говорю просто: бери смычок и веди как веслой по морю». Передаю со слов профессора Рабиновича, Столярский владел тайной скрипичного мастерства. Знал человеческую и музыкальную природу своих учеников, любил их и имел к ним подход. Он обладал неповторимым музыкальным нутром и действительно был великим учителем скрипки.

Откуда взялся Столярский? У кого учился? Известно, что на заре своей деятельности он играл в оркестре оперного театра. Наверно, кто-то показал ему, как держать скрипку, смычок, может, что-то еще. Назовут, возможно, какого-нибудь скрипичного ребе, Но разве выдержит он сравнение с учителями Л. Ауэра, А. Ямпольского, Л. Цейтлина, М. Эрденко, О. Налбандяна, К. Флеша, Г. Куленкампа, И. Галамяпа и других? Никогда под своими пальцами Столярский не ощущал произведений, столь блистательно исполнявшихся его учениками.

Станиславский говорил: «Талант — это страсть». Столярский упивался своими уроками. В Свердловске он жил в коммунальной квартире; в его комнате стояли пианино, диван, кровать, стол и что-то еще. Весь день приходили ученики — приближался концерт. В той же комнате умирала его жена Фрида Марковна. Мы с Мишей переглядывались: состоится концерт или нет? Но Столярский был поглощен уроками. Не помню, чтобы он повернулся в ее сторону и что-то спросил.

Как музыкант-педагог П. С. Столярский представлял собой явление уникальное. Это — чудо. А чудо необъяснимо. Им можно любоваться и только. Неповторима была и его личность. Его манера говорить, его юмор.

Среди музыкантов, особенно молодежи, постоянно повторялись сказанные им новые яркие фразы. Так, идущему рядом ученику он сказал: «Что ты плонтаешься под ногами, иди немножко прежде». Или: «Буся, у меня к тебе вопрос. Подари мне твой пояс» и т. д., и т. п. Но когда на торжестве по поводу присвоения Одесской музыкальной десятилетке его имени Столярский сказал: «Товарищи! Я вам благодарнэ, что вы организовал школу имени mine. Да здравствует товарищ Каганович, Сталин и все наши шишки», — то это стало всеобщим достоянием. Зал был полон, и больше половины присутствовавших — не музыканты.

Его выражения мгновенно становились известными. Спрашивает Буся Гольдштейн: «Петр Соломонович, почему у меня не получаются фингерзации?» Столярский отвечает: «Так ты же не так фуцкинируешь». На собрании в консерватории: «Мы все должны помнить Одесскую консерваторию. Мы все должны помнить и чтить то место, откуда мы вышли». На методической конференции демонстрирует постановку руки десятилетней Миры Фурер. «Деточка, положи скрипочку на ключицу. Таким образом ребенок истыкивает скрипочку в свой организм. А сейчас я вам покажу техническую часть десятилетнего ребенка».

Получив автомобиль М-1, Столярский сказал: «Мне теперь никакия расстояния не страшна, я имею Эм-одну».

На собрании: «Наш директор товарищ Кандель не говорит глупостей, а делает» (имея в виду, что он делает дело).

Ойстраху — после концерта: «Додик, ты своими вчерашними местами заставил меня, старика, спустить слезу». Можно продолжать и продолжать. Музыковед А. А. Коган составил русско-столярский словарь. Некоторые из приведенных фраз мне стали известны со слов проживающего в США виолончелиста Алекса Рубинштейна, с детских лет общавшегося со Столярским.

Мгновенное распространение этих «перлов» никак не унижало Столярского. Наоборот, было одной из форм восхищения им. Вот, мол, какие чудеса выговаривает, а такой блестящий профессор!

В этом — весь Столярский. К сожалению, таких людей давно нет. В массе своей они были расстреляны фашистами в дни оккупации. Одним из последних ушел из жизни Столярский.

Он умер в 1944 году.

Вспоминая Столярского, нельзя не сказать, что он один из тех, кто преумножил славу Одессы и умер на чужбине, не дождавшись возвращения в родной и любимый им город.

Но, пожалуй, лучше так, чем вернуться на родину, ставшую царством разнузданных погромщиков. Для старого человека, прожившего жизнь в почете и славе, это кошмар, страшнее смерти. Бог, Судьба распорядились по-другому.

## УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

После войны, когда взялись и за музыку, и демагогия поглотила все, появление ярких индивидуальностей в среде педагогов было исключено. Основным стало «художественное слово», умение говорить. Возникли обязательные учебные планы, очень мешающие умелым педагогам, и, наконец, централизация, уничтожающая их и сводящая к нулю.

Разъедающая ржавчина социализма проникла во все сферы жизни. К примеру, юный Владимир Ашкенази, ученик ЦМШ, стал победителем конкурса в Брюсселе. Он учился у замечательного педагога А. С. Сумбатьян. В консерваторию к Л. Н. Оборину он пришел уже артистом мирового класса. Но пока имя Ашкенази произносилось в СССР, его педагогом называли только Оборина. Победитель того же конкурса Евгений Могилевский до своего блестящего выступления был студентом Московской консерватории только полгода. Случайно я слушал его на приемных экзаменах. В сопровождении своей матери, прекрасной пианистки Симы Могилевской, он исполнил вторую и третью части Концерта Рахманинова. Все понимали, что присутствуют при рождении большого артиста. Выступление было настолько впечатляющим, что после него объявили непредусмотренный перерыв.

Никто не сомневался: в появлении музыканта высокого уровня с большим репертуаром в классе Нейгауза сказалась работа его матери Симы Могилевской. Готовиться к конкурсу не пришлось: все уже было сделано. Результат говорил сам за себя. Но имя Могилевской не упоминалось. Ее ученика уже «централизовали».

Расскажу об унижении и трагической гибели одного из лучших педагогов страны — Берты Михайловны Рейнгбальд. Она привезла в Москву своего питомца, шестнадцатилетнего Милю Гилельса. Его выступление можно назвать историческим. Оно вызвало сенсацию. Все прекрасно знали: заслуга принадлежит прежде всего самому Гилельсу, затем его педагогу и *никому больше*. Мало того, в журнале «Советская музыка» Гилельс написал, что он ученик одного учителя — Рейнгбальд, подобно Ойстраху, знавшему только Столярского. Но его педагогом называли Нейгауза. Недавно вышла новая пластинка «Юный Гилельс». На ней записи одесского периода, когда он работал с Бертой Михайловной. В частности, «Свадьба Фигаро» Моцарта – Листа. Гениально. Другого слова нет.

Ученицей Рейнгбальд была замечательная пианистка Татьяна Гольдфарб. У нее занималась и другая выдающаяся пианистка – Мария Гринберг. Вспоминаю симфонический концерт в Колонном зале Дома Союзов в сезон 1936/1937 годов. Двенадцатилетний Дима Тасин, учившийся у Рейнгбальд, исполнил Первый концерт Бетховена (и на бис Контрданс). Если ребенок играет такое произведение законченно, глубоко, с безупречным вкусом, чувством формы, стиля и блестящим мастерством, то заслуга его педагога, большого музыканта, неоспорима.

У пюльта стоял великий дирижер немецкой школы Оскар Фрид. Сегодня в Германии его пластинки выходят под рубрикой «легендарные имена». Такой музыкант ни на какие компромиссы и скидки в Бетховене (да и не только в нем) не пошел бы. Фортепиано и оркестр звучали равноценно. После исполнения Берту Михайловну вызвали па эстраду. В ее адрес послышалось «браво». И это была естественная реакция взыскательной московской публики. В годы войны Б. М. Рейнгбальд была профессором Ленинградской консерватории. По ее возвращении из эвакуации по всей Украине полным ходом шла борьба с «космополитами». Ее терпение истощилось. Она покончила с собой.

Когда Рейнгбальд уже не было в живых, Генрих Густавович Нейгауз, человек высокоодаренный, написал замечательную книгу. По в ней есть одно место, где он называет Рейнгбальд *учительницей Гилельса*. А ведь Нейгауз знал, что Берта Михайловна была

известным профессором. Яков Зак рассказал мне, что он сказал Нейгаузу об этом (и не только он). Назвал бы так Генрих Густавович кого-нибудь из своих коллег по консерватории? Уверен, что нет. Хотя большинству из них далеко до Б. М. Рейнгольда. У нее, кроме великого Гилельса и выдающейся пианистки современности Марии Гринберг, искусство которых уже сегодня изучается в консерваториях по курсу истории и теории пианизма, учились замечательные пианистки-лауреаты Т. Гольдфарб, Л. Сосина и профессор Б. С. Маранц.

Таким рядом имей могут гордиться лучшие профессора страны.

Григорий Коган был одним из самых прославленных и любимых профессоров Московской консерватории. Он создал курс «История и теория пианизма». В те времена он читался только в Московской консерватории и больше нигде в мире. Как лектор он был гениален. Мы были так увлечены его лекциями, что сидели, разинув рты и глотая каждое слово. О конспектировании не могло быть и речи. По очереди записывал каждый из нас. Все, что он говорил, запечатлевалось в памяти необычайно ярко. К экзамену мы почти не готовились. Разве что повторяли даты.

Сложно передать манеру его чтения. Никаких подъемов и спадов, никакого артистизма. Если бы вели акустическую запись его речи, то получилась бы прямая линия. Все озарял его блестящий интеллект, какая-то сокрушающая логика. Возражать ему было невозможно. Часто на его лекции приходили теоретики, струнники, композиторы и иногда даже вокалисты. Приходили как на концерт или в театр. К слову, он великолепно знал театр.

Память Григория Когана была феноменальна. Прекрасный пианист, он часто ездил с концертами по стране. Однажды в антракте ему принесли незнакомую пьесу. Он ее просмотрел и сыграл на бис. В другой раз он безупречно исполнил на бис пьесу, которую лет двадцать не играл. Лучше всего у него звучали клавесинисты. Здесь ему равных не было. К счастью, сохранилась одна его пластинка, где сыграны и клавесинисты. Это неповторимо. Он помнил абсолютно точно то, что хоть раз читал. Порой доходило до курьезов. Так, до войны вышла книга «Фортепианная методика». Г. М. Коган дважды обращался к автору с предложением внести поправки и ссылки на использованный материал. Тот отказался. Тогда на заседание специальной комиссии Коган принес около двадцати-тридцати русско-англо-франко-немецких книг. Сказал: «Откройте здесь такую-то, а у автора такую-то страницу. Теперь переведите». Перелистав так полкниги, он закончил: «А остальное списано у меня». После чего часа два говорил. Все слушали, не шелохнувшись. Чуть ли не назавтра автор уехал из Москвы. В послевоенные годы у него вышла отличная большая книга, но «Фортепианная методика» исчезла.

Где-то в шестидесятые годы в журнале «Советская музыка» Коган сравнил две рецензии. Одну, написанную в конце века на концерт Антона Рубинштейна, и другую, на концерт Гилельса, опубликованную в те же шестидесятые. Оказалось, что это одна и та же рецензия, только указаны разные имена исполнителей и ее авторов.

Г. М. Коган написал шесть-семь книг. По всеобщему признанию, это лучшие книги о музыке. Одна из них — «У врат мастерства» — привлекает внимание людей разных профессий как глубокое психологическое исследование настойчивого, целеустремленного творческого поиска. Из предисловий к его книгам узнаем, что многие из лучших исполнителей, не будучи его учениками, считают себя таковыми. Среди них — Гилельс и Рихтер. Но в условиях неприкрытого антисемитизма об этом писали очень осторожно и лаконично.

Насколько сильно было влияние Когана, можно судить по тому, что к нему, уже изгнанному из консерватории, постоянно обращались с вопросами и за советами самые видные исполнители. Его мнением дорожили. Похвалой гордились. Он постоянно был в центре концертной жизни. Его место занял чиновник от музыки. «Подарок» партии Московской государственной консерватории имени Чайковского и ее студентам. Григорий Михайлович Коган умер, так и не дождавшись возвращения в консерваторию. Таков один из итогов борьбы «за идеологическую чистоту». Преступление перед музыкальной культурой страны и особенно перед молодежью.

## **МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ЛЕТОМ 1943 ГОДА**

Летом 1943 года консерватория возобновила работу в Москве. Ее директором был назначен композитор В. Я. Шебалин. Он взялся «за дело» с воодушевлением и начал с того, что уволил всех педагогов еврейского происхождения. Шебалин собрал узкое совещание своих единомышленников, и они решали, кого выгнать, а кого оставить. Радость и упоение участников «исторического совещания» были так велики, что они ничего не скрывали. Происходившее было известно в деталях. Из профессоров-евреев не тронули только Ойстраха, Гинзбурга и Григория Когана. Шебалин в 1943 году опередил 1952-й. Лучшие профессора консерватории в эту грязь не лезли и вообще были в стороне от «борьбы за идеологическую чистоту». Лишь один *Игумнов* затесался в эту компанию. Когда дошла очередь до Я. Мильштейна, молодого педагога, его ассистента, он сказал: «Этот еврейчик еще сможет пригодиться». «Еврейчика» оставили. А консерватория становилась все более посредственной и убогой. Прежде заместителями ректора всегда были профессора с музыкальным авторитетом. Теперь им стал некий Богатырев — теоретик, кажется, даже без какого-либо ученого звания. Никто не знал, откуда он взялся. Для консерватории его личность и появление остались загадкой.

Среди педагогов появились люди профессионально слабые, ранее и не мечтавшие о работе в Московской консерватории. А приехавший из эвакуации лучший в СССР профессор по классу скрипки А. И. Ямпольский работал в музыкальной школе Свердловского района на площади Пушкина.

Неожиданно уволили Григория Когана. Выяснилось, что некоторые из педагогов (оставшихся и изгнанных) написали о нововведениях то ли Батюшке, то ли в ЦК. Их организовал и возглавил музыковед, профессор Ю. В. Келдыш. Среди подписавших письмо стояло имя профессора Когана. В наказание его выгнали, да так, что даже упоминать о нем боялись. Московская консерватория для Когана закрылась навсегда. Директора возвратившихся из эвакуации консерваторий получили указание: очиститься от евреев — по возможности, избавиться от старых кадров (предоставлялись такие «возможности» довольно часто), новых же педагогов-евреев просто не брать.

Ленинградская консерватория обошлась без «реформ». П. А. Серебряков сохранил ее уровень. Во время борьбы с «космополитами» он выгнал профессора Л. А. Баренбойма, но так, что тот, подав в суд, выиграл. Неожиданно Батя закрыл глаза, и все остановилось. Мероприятие сорвалось.

Принято думать, что для музыканта музыка превыше всего. История с профессором Ямпольским доказывает, что иногда превыше всего антисемитизм.

Профессор Ямпольский — единственный из педагогов, в предвоенные годы два раза побывавший за рубежом. Один раз как учитель Буси Гольдштейна, второй — как член жюри в Брюсселе. Так как при Сталине никто никуда не ездил, визиты за границу поднимали престиж любого специалиста, его профессиональную значимость. В послевоенные годы Ямпольский считался ведущим профессором. Среди скрипачей его авторитет был непререкаем. Был он необычайно скромен и к тому же отличался немногословностью. Думаю, что никто в жизни на него никогда не обижался. Может ли музыкант и порядочный человек не взять такого профессора в консерваторию только потому, что он еврей?

К слову. В послевоенные сталинские годы выдающийся дирижер Н. С. Голованов руководил Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио (многие знатоки считали его лучшим). За Головановым ходила молва, что он антисемит. Но все знали, что при конкурсе в его оркестр все решает только профессиональный уровень музыканта. Другого критерия не было.

Когда однажды на собрании парторг оркестра заговорил о патриотизме (с этого все начиналось), Голованов с присущей ему грубостью оборвал его словами: «Не мешайте работать». В этом оркестре царила профессиональная атмосфера. Настоящий музыкант, что бы он ни думал, прежде всего честный музыкант. И только после смерти Голованова в оркестре начали проводить различные партийные «улучшения».

Итак, перестаравшись, превратив консерваторию в комедию, Шебалин был вынужден аннулировать решения своего «исторического» совещания с погромщиками. Ему пришлось

пригласить тех, кого он так беспардонно выгнал. Не потому, что его очень волновал уровень консерватории, а лишь «через не могу», по указанию начальства.

За патологический антисемитизм в Советском Союзе никого не наказывали.

До войны к Г. М. Когану пришивартовался молодой человек, Александр Александрович Николаев. Короткое время он неудачно работал педагогом в музыкальном училище. Потом ушел оттуда и стал заниматься фортепианной методикой. Его кандидатскую диссертацию о Клементи член-корреспондент Академии наук А. В. Оссовский не хотел утвердить. Уладил все Г. М. Коган. Он же взял Николаева в консерваторию в качестве своего ассистента. Без Когана в консерватории Николаев был абсолютным нулем. И вот теперь, ни много ни мало, ему предложили занять место Когана. Он сразу же согласился. Это произвело эффект взорвавшейся бомбы. Вскоре Николаев стал одним из активнейших проводников «нового порядка». Приведу забавный диалог Николаева с профессором В. Н. Аргамаковым. Но предварительно несколько слов о самом Аргамакове. Его отец был предводителем дворянства. Аргамаков получил первоклассное образование, был человеком высокой культуры и по духу — русским дворянином. Полный достоинства и принципиальный в своих убеждениях. Он очень любил музыку, особенно фортепианную. Писал стихи. О его остроумии ходили анекдоты. Лично я, тем не менее, не могу представить себе Аргамакова не только смеющимся, но даже улыбающимся. И вот Николаев ему говорит: «Педагоги — это неудавшиеся пианисты». Аргамаков блестяще отпарировал: «А методисты — это неудавшиеся педагоги».

Постепенно консерваторию заполнили посредственность и серость. Раньше она была собранием знаменитостей, теперь из молодого поколения остались только Ойстрах и Гинзбург. Место Когана занял Николаев.

Такой оказалась Московская консерватория летом 1943 года.

## НАЧАЛО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

3 июля 1941 года Сталин обратился по радио к народу. Он начал так: «Дорогие братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Такое обращение — свидетельство сломленной воли жестокого тирана. Ничего подобного ни до, ни после от него не слышали.

Зимой 1943 года фашисты потерпели поражение у Волги, и в войне произошел перелом. Советская армия уверенно двигалась на запад. Победа была не за горами. Сталин обратился к мирному строительству. Для него мирное строительство — постоянная борьба с бесчисленными «врагами»: классовыми, идеологическими, разными «агентами», «диверсантами», «националистами», а заодно и с их семьями. В декабре 1942 года Уинстон Черчилль сказал в Парламенте: «Гунн или валяется у ваших ног, или хватает вас за горло». Разумеется, он говорил о Гитлере. Но между Гитлером и Сталиным можно поставить знак равенства.

Трагедия крестьянства, голод, террор были далеко не последними «гениальными» идеями Сталина. Пока ждали своей очереди биология, генетика, литература, языкознание, музыка, в ход пошли евреи. Антисемитизм, первая послевоенная идея Сталина, положил начало идеологическому наступлению. Проходило это тихо и по-деловому, то есть вне прессы. А с 1946 года пошли первые фельетоны с «соломонами» и «абрамами» (Жданов и Лысенко появятся позже). Изо дня в день их становилось все больше и больше. Они превратились в основную форму разжигания антисемитской истерии в печати. Фельетоны развлекали и возмущали. Они вошли в быт. Скучные советские газеты начали вызывать живой интерес, чего раньше не было. Их ждали...

Государственное подстрекательство имеет свои цели. Утвердилось слово «космополитизм». Евреев стали называть «космополитами». Плакатно, для ширпотреба. А литературно: «люди без рода, без племени». Тоже новинка.

Время борьбы с «космополитами» — время политической и идеологической «зрелости масс». Время «пробуждения». Из самых глубин всплыли «яркие дарования» во всех сферах жизни и знаний. Разве всех перечтешь? Взять, к примеру, одного из пламенных «борцов», драматурга Анатолия Сурова. Его пьеса «Зеленая улица» шла в МХАТе и в других театрах страны. Интересно, откуда взялся этот лауреат Сталинской премии? Как «творил»? Почему

исчез? Сколько подобных «дарований» выбросила мутная волна антисемитизма?

В период оттепели отказались от многих особенностей сталинизма. Но не от евреев. И во избежание сталинских формулировок вместо «космополиты» их стали называть «сионисты».

Я иногда думаю, появится ли третье название? А если да, кто его придумает: общество «Память», редакция журнала «Наш современник» или Валентин Пикуль?

Подходил к концу 1943 год. Время, когда поставки из Америки шли полным ходом. На фронте мы видели только американские машины. Других не было. Во многих частях были даже американские танки. Продукты — тоже американские. Отлично помню приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1943 года. Там было четко сказано, что для победы над врагом одной Советской Армии недостаточно. Нужны армии союзников. Ни раньше, ни позже ничего подобного не говорилось.

Естественно, в Москве начали появляться иностранцы. Как военные, так и бизнесмены. Заметно ожила концертная деятельность. Заморские гости интересовались всем, что происходило в Москве. А консерватория не имела показушного вида. Да и разговоры о ней велись явно нежелательные. Думаю, что было дано указание изгнанных принимать обратно. Но умеренно, дабы не обрадовались и не подумали, что политика изменилась. По одному возвращались педагоги из «гетто». Какое «гетто», спросите вы? Отвечаю. Уволенные из консерватории и их семьи ежедневно, по законам природы, должны что-то есть. И единственное место, куда их еще брали на работу без проблем, была областная филармония. Ее называли «гетто».

Областная филармония — это оркестр и солисты, которые давали концерты в Орехово-Зуево, Серпухове, Волоколамске и других городах Московской области.

В части, где я был солдатом, знали, что мои родители живут в Москве, и командование, направляя туда офицеров, приписало к ним и меня. Машина стояла в нашем дворе, а офицеры с шофером жили у нас. Таким образом, я месяц находился в Москве. Почти каждый день посещал консерваторию и класс Старика. Встречался с профессорами и обо всем происходящем знал из первых рук. Время пролетело быстро. Мы возвратились в часть, которая из резерва выехала на фронт. Мне пришлось побывать в Венгрии, Румынии. А затем в Австрии и прекрасной Вене. После войны мы три месяца находились в небольшом городишке Нойнкирхен, откуда я направился в Москву и к зиме 1945 года снова стал студентом консерватории.

## ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ШЕБАЛИНА

Новый директор консерватории Шебалин добрался до самого верха номенклатуры. Его сделали депутатом Верховного Совета РСФСР. Он поехал с женой в Италию в то время, когда самые большие музыканты не могли даже мечтать об этом. Им были доступны только Ленинград, Харьков, Новый Оскол, Жмеринка, Хацапетовка и т.п. Приближалось восьмидесятилетие основания Московской консерватории. Оно широко отмечалось. Многих профессоров наградили орденами. И заместитель директора по хозяйственной части товарищ Фадеев, проработавший в консерватории всего полгода, получил орден Трудового Красного Знамени. Молодежь очень чувствительна к несправедливости. Студенты негодовали.

Дело в том, что при каждом райкоме партии имелись на учете деятели, которых бросали (партийное выражение) на руководящую работу. Это мог быть вокзал, баня, консерватория и т. д. Но поскольку искусство считалось не таким (выражаясь партийным языком) важным участком, как промышленность и сельское хозяйство, то наименее «удачливых» *бросали на искусство*. Музыке и театру всегда доставались «чародеи ума». До войны партия бросила на консерваторию некоего Шурьева. Он сразу же прославился среди студентов, сказав на собрании: «У нас будут свои Римские-Корсаковы и Пиканини». Раздались аплодисменты. Он воспринял их совершенно серьезно.

Шебалин был возвеличен до уровня императора. Автор одних воспоминаний обиделся на Гольденвейзера за то, что тот заставил его долго сидеть в приемной (любой, близко знавший Гольденвейзера, скажет, что это неправда). На Шебалина обижаться не приходилось. Он никого не принимал и ни с кем не общался, кроме своих приближенных. Были указаны



приемные часы его секретаря: только два раза в неделю. Нигде, кроме своего кабинета, Шебалин не появлялся. Проходя к себе, он не всегда отвечал на приветствия профессоров. Естественно, такое «величие» наложило отпечаток и на его композиторское мышление. Он написал кантату «Москва». Ее исполняли удвоенный или утроенный симфонический оркестр, два духовых оркестра (они размещались на балконах Большого зала, где стояли прожектора) и два хора: один, большой, — на эстраде, а другой — в прихожей артистической, у выхода на сцену. Это уже было «новое слово» в ораториально-симфонической музыке. Все студенты, державшие в руках инструмент, сидели в симфонических и духовых оркестрах. Остальные, то есть пианисты, вокалисты, теоретики, пели в хорах. Практически вся консерватория была занята исполнением кантаты Шебалина. Освобождены были только педагоги старшего поколения (таким образом, Гольденвейзер и Ямпольский в хоре не пели), бухгалтерия, уборщицы и студенты-дипломники, к коим принадлежал и я. В дни репетиций все занятия в консерватории отменялись. Кажется, перед исполнением репетировали чуть ли не ежедневно.

В консерватории было как-то не по себе. Тишина. Ни души... Все в Большом зале на репетиции. Такой симфонический монстр мог возникнуть только в Советском Союзе и при условии, что его автор — директор или министр. Тогда оркестры и хоры можно собрать путем *тотальной* мобилизации. Но и это не все. Для увековечения «большого исторического события» на следующий день после исполнения все участники обязаны были расписаться то ли на каком-то стенде, то ли на чем-то другом.

Я хочу обратиться к туристам, посещающим Москву и Ленинград. Не ищите росписи первых исполнителей «Бориса Годунова» и «Пиковой дамы»! Берегите свое время!

Сегодня в Америке живут наши пианисты, успешно выступавшие на конкурсах и концертах. По «увековечены» они как хористы: подписи их значатся на том «историческом стенде».

Если не ошибаюсь, кантата Шебалина «Москва» исполнялась только два раза: *первый и последний*. Это была вершина карьеры Шебалина. Затем последовало внезапное падение, типичное для номенклатурных тузов времени сталинизма.

## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ МУЗЫКЕ

Мощный толчок сотряс все устои музыкальной жизни Советского Союза. Назывался он — опера «Великая дружба» Ваню Мурадели. Все рухнуло. Полетели председатель Комитета по делам искусств Храпченко, генеральный секретарь Союза композиторов Хачатурян, директор консерватории Шебалин. Произведения так называемых «формалистов», композиторов Прокофьева, Шостаковича и других, были запрещены. Известный московский сатирик Николай Смирнов-Сокольский переименовал оперу «Великая дружба» в «Гибель богов» (есть такая у Вагнера). Остроумный пианист Григорий Гинзбург тоже не остался в стороне. Предприимчивому скрипачу, постоянно крутившемуся около Хачатуряна, позвонили и холодно, официально сказали: «Выньте язык из зада Хачатуряна и держите пока в воздухе». Все понимали, что на музыку обрушилась беда. А события продолжали развиваться.

Известно, что одной из основ советской власти, помимо «перегибов», являются собрания. Началось с собрания у Жданова. Только там оно называлось совещанием. Выступления видных композиторов и деятелей музыки практически не отличались одно от другого. Обстановка была очень нервной и, я сказал бы, судьбоносной. Мозг сверлила мысль: «Господи! Чем все это кончится?» Страх охватил почти всех. Многие носили с собой валидол и другие лекарства. Вышла стенограмма совещания. Шебалинская речь там была самой глупой. Он начал с того, что через дыры на крыше консерватории в дождь протекает вода.

Жданов его тут же оборвал: «Мы здесь собрались, чтобы говорить не о дырах на крыше консерватории, а о дырах в вашей музыке». В стенограмме этой реплики нет, по о ней говорили все присутствовавшие. В речах выступавших чувствовалась неуверенность и волнение. Только Гольденвейзер говорил не в тон. Восторгался поздним Скрябиным, чья музыка в партийном понимании «антинародная». Выступление Гольденвейзера, зафиксированное в стенограмме, которая и по сей день сохранилась у многих в СССР, — лучший памятник ему.

После ждановского совещания прокатилась волна собраний. И, как всегда, в газетах появились «письма трудящихся». Сталеваы, доярки, токари, фрезеровщики и многие другие выражали свое возмущение и требовали поставить на место композиторов, «оторвавшихся от народа», пишущих чуждую ему музыку. В такой обстановке началось общеконсерваторское собрание. Проходило оно в Большом зале и продолжалось три дня. Председательствовал Лебедев, через неделю-другую занявший пост Храпченко. Появился и высокий гость, еще один «музыковед», муж Фурцевой, товарищ Фирюбин, который произнес поучительную речь. По Москве упорно ходили слухи, что во время его визита во Францию в парижских газетах красовалось его фото с рогами из початков кукурузы. А позже, при Хрущеве, острили, что в московских ресторанах скоро можно будет заказать новое блюдо: *фурцерованные хрущи в соусе*. Выступали профессора и студенты. Но когда на трибуну вышел святой человек, профессор Александр Федорович Гедике, стало ясно, что профессоров выталкивают силой. Гедике говорил о том, что следует уделять больше внимания народной песне: «В 1902 году вышел сборник русских народных песен Мельгунова. Это — лучший сборник, и его следовало бы переиздать». В том же духе были и последующие выступления. Становилось скучно. И вот на второй день на трибуну поднялся профессор Келдыш. В ложе директора, справа, сидят два единомышленника: Шебалин и, чего никто не предполагал тогда, его преемник Свешников. Лицо Шебалина круглое, безликое. Его трудно обрадовать, огорчить, удивить. А у Свешникова наоборот. Его энергичное лицо сразу все отражает.

Келдыш без преамбул начал: «Товарищи! В консерватории неблагополучно. Уровень преподавания и уровень студентов стали значительно ниже прежнего. Все это оттого, что, став директором, Шебалин повел политику самой махровой черносотенной реакции. В этом ему помогают его единомышленники, лица малокомпетентные, не вызывающие уважения ни у своих коллег, ни у студентов». И начал называть каждого «единомышленника» по фамилии. Аргументы его неотразимы. А они тут же сидят и впервые, без всякой подготовки, слушают о себе правду. Все в Большом зале, особенно молодежь, бесцеремонно поворачиваются и смотрят на того, о ком говорит оратор. Впечатление взорвавшейся бомбы. Объявили перерыв. Все вышли в фойе. «Героев» нельзя узнать. Жалкие, бледные, растерянные. Особенно Николаев и Любимов. Обстановка разрядилась, прошел страх.

Некоторые педагоги уже осмелились высказать критические замечания в адрес директора. Григорий Гинзбург сказал с трибуны: «Никаких обид или натянутости между мной и Шебалиным нет. Но почему-то, когда я с ним здороваюсь, он проходит мимо и не отвечает, а студенты это видят».

Другие тоже не молчали. Человек, обладающий острым умом, юмором, сарказмом, мог бы ответить достойно. Увы... Шебалин был серой личностью, а его речь — скучной, бледной и нервной. Но сказал правду, с гордостью заявив, что никогда еще в Центральной музыкальной школе не было так поставлено преподавание гармонии и сольфеджио, как теперь. Не добавив, однако, что там работают педагоги, не допущенные в консерваторию.

Ох уж эти собрания — постоянные спутники нашей жизни. Это — или убийственная скука, потеря времени, или жесточайшая пытка души и нервов, губящая здоровье, сокращающая жизнь. Инфаркты, инсульты и прочес в СССР начинаются с собраний и заседаний.

В те времена все собрания завершались письмом к товарищу Сталину. И здесь не обошлось без оногo: «Мы поняли стоящие перед нами задачи и будем создавать для народа музыку мелодичную, изящную, достойную строителей нового общества» и т. д., и т. п.

## **ПАРТИЯ ТРЕБУЕТ МУЗЫКУ МЕЛОДИЧНУЮ, ИЗЯЩНУЮ**

Мелодичную, *изящную* — на вкус самого среднего обывателя, то есть самого Сталина. Куда уж тут Мусоргскому? Но и обывателю иногда может понравиться что-то из классики. Он не останется безразличным к одухотворенному темпераментному исполнению. К примеру, Сталин случайно услышал по радио Концерт ля мажор Моцарта в исполнении Юдиной. Ему пришлось по душе, и он потребовал пластинку. Ее немедленно записали. Я хорошо помню это, так как в те годы подрабатывал в Доме звукозаписи. Заказ был срочный. А вот детали я узнал, уже оказавшись здесь, из биографии Шостаковича. Оказывается, Сталин прислал

Юдиной крупную сумму денег. Она ответила благодарственным письмом. В нем сообщила, что полученные деньги отдала на ремонт церкви, в которой будет замаливать перед Богом его грехи. Желая утешить Батю, она написала: «Бог милостив, Он простит вас». Как ни странно, сошло. Юдина была выдающейся пианисткой современности. Но в последние годы жила в нужде и умерла, как нищая. Пришла в районную поликлинику и упала там замертво.

Еще один случай. Прихожу в консерваторию и слышу: «Вчера был концерт в Кремле, а сегодня многие, здороваясь с Яшей Флиером, кланялись ему чуть ли не в пояс». После войны я как-то спросил его об этом. И он рассказал: «Перед началом концерта в Кремле Ворошилов, Молотов, Калинин и другие "соратники" мило и приветливо разговаривали со Шпиллер, Барсовой и еще несколькими солистами. Вдруг я заметил, что Ворошилов и остальные как-то подтянулись, почти прервав разговор. Появился Батя. Засунув большой палец во френч, он спокойно, как бы отделяя слова, сказал: "Что ж, будем начинать концерт?"» А после концерта, проходя мимо артистов, остановился возле Яши, сказал: «Маладэц», — и пошел дальше. Это было на глазах у всех. А затем свое дело сделал московский телефон.

И еще пример музыкального вкуса Сталина.

По окончании войны президент США Гарри Трумэн прибыл на конференцию в Потсдам с пианистом Юджином Листом, выступившим на приеме у американской делегации. Немедленно последовала команда прислать наших. Наши — лучше. Мы вам покажем. Приехали два больших пианиста: Эмиль Гилельс и Владимир Софроницкий. А со скрипачами получилось забавно. Тогда в Москве блистали Давид Ойстрах и Борис Гольдштейн. Пользовался большой популярностью и Самуил Фурер. Но такие имена резали слух товарища Сталина. Челядь это знала, и, чтобы не раздражать его, направили Галину Баринову и Марину Козолупову. Молодая Баринова была очень интересной и блестяще воспитанной женщиной. Не в пример другим, она знала языки, умела себя держать и произвела прекрасное впечатление. Но, естественно, эффект от ее выступления был не сравним с тем, который могли бы произвести Ойстрах или Гольдштейн.

Об одном характерном для того времени моменте этой поездки рассказываю со слов Гилельса. Выезд в Потсдам был совершенно неожиданным и очень срочным. Слушало их там всего пятнадцать человек, по пяти из каждой делегации. Обстановка была столь напряженной и нервной, что Гилельс, уже в который раз играя Прелюдию Рахманинова (соль минор), волновался. После концерта президент Трумэн, к слову, сам игравший на фортепиано, пригласил Гилельса на гастроли в США. А несколько позже Сталин пригласил его на ужин. Оба приглашения говорят сами за себя.

На предложение Трумэна Гилельс, сославшись на «перегрузку концертами в СССР», ответил отказом. А Батино, естественно, принял.

Во время ужина Сталин заметил, что ему у Шопена очень нравится одна вещь с «переливами». Названия он не помнил. Рядом стоял рояль, и Гилельс сел искать «переливы». Начал наигрывать одно, другое, и так прошелся по всему Шопену. Оказалось, что это Полонез ля мажор. Действительно, там первые фразы заканчиваются «переливами». Полонез ля мажор — самое бессодержательное из произведений Шопена. Он помпезно-декоративный, и его часто исполняют духовые оркестры.

На том мои познания о музыкальных вкусах Сталина исчерпываются.

Ужин продолжался. В те времена радиопередачи из Москвы заканчивались в 12 часов ночи исполнением нового гимна. Сталин включил приемник. Звучит гимн. Все знали, что, прослушав десятки вариантов, он выбрал именно этот. И он говорит, обращаясь к Гилельсу: «Тибэ нравится гимн?» Конечно, Гилельс стал расхваливать его на все лады. Выслушав, Сталин сказал: «А мне нэт...» Батя любил шутки.

В Потсдаме при встрече с музыкантами Сталин обратился к Софроницкому: «Говорят, у вас тяжелое жилищное положение». Надо сказать, что Софроницкий уже играл в Кремле на приеме Риббентропа. Тогда посол Шуленбург пригласил его: «Приезжайте в Германию, вас забросают цветами». Сталин не мог не понимать, что он — один из виднейших музыкантов. Но и после Потсдама Софроницкий квартиру не получил. Вопрос Сталина был «пгуткой», издевкой. Думаю, виной тому внешность Софроницкого. Нейгауз, вспоминая первую встречу

с молодым Софроницким, писал: «Красив, как юный Аполлон». Он был не только красив, в нем ощущалось что-то изысканное, одухотворенное. Настоящий русский аристократ. Таких Сталин не выносил. Его эстетические вкусы отражались Семеном Михайловичем Буденным, Трофимом Денисовичем Лысенко и им подобными. Возможно, это одна из причин, по которой после 1937 года сталинизм стал эрой торжества посредственностей, ничтожеств и неучей.

Традиция продолжалась при Хрущеве и Брежневе.

### **О МУЗЫКОВЕДЕ, ПРОФЕССОРЕ КЕЛДЫШЕ**

Лекции Келдыша по истории музыки я слушал на потоке в Малом зале консерватории еще до войны, хотя лично с ним знаком не был. Дело он знал, читал интересно. И вдруг его невероятное по тем временам выступление с трибуны Большого зала! Речь героя-бунтаря. В одной из книг-воспоминаний о Московской консерватории автор рисует профессора Келдыша приспособленцем, потому что на лекциях он посвящает Дунаевскому больше времени, чем Шостаковичу. Хотя каждый в Советском Союзе знает, что количество часов на темы лекций спускается сверху.

Келдыш был мужественным и честным человеком. Его прямота и смелость вызывали уважение. Письмо против «нововведений» Шебакина организовал и первым подписал он. Приспособленец на такое не пойдет. А его речь в Большом зале говорит сама за себя.

Чиновники разных калибров и те, у кого идеи начинаются с желудка, удивлялись: «Чего он хочет? Его не выгнали, у него хорошие условия работы, а он воду мутит». Это даже не рабская психология. Раб мечтает о свободе. Это психология чисто собачья: дали собаке пожрать, и она довольна. В СССР такое мышление характерно для тех, кто находится близко к государственному пирогу, особенно к его лучшим *кускам*. Обычный их аргумент: «Чего ему не хватает?» Его применяли к А. Д. Сахарову и некоторым другим.

По-моему, мужество, честность и прямота Келдыша связаны с окружавшей его с детских лет средой. Я знал людей, живших в одном доме с его родителями. Отец Келдыша, блестящий русский интеллигент, был профессором еще до революции. О нем говорили как о человеке высокой культуры, доброжелательном, чутком и очень принципиальном. У него было четыре сына и дочь — все будущие профессора. В их семье не пресмыкались и не угодничали. Не выносили невежества и хамства. Как правило, выросшие в такой атмосфере не становятся подонками.

Несмотря на выступление в Большом зале, Келдыша не тронули. Другое дело Коган. Вместе с Келдышем он был автором и организатором письма. Такого ему простить не могли. А занявший его место Николаев стал крупным чином в консерватории и даже в министерстве. Он-то хорошо понимал, что сулит ему возвращение Когана в консерваторию. Это в теории. А на практике громко уволенных с фамилией Коган уже никогда не восстанавливали.

### **СВЕШНИКОВ**

Через несколько дней после шумного собрания в Большом зале ректором Московской консерватории был назначен А. В. Свешников. Единомышленники Шебакина отделались легким испугом, но влияние свое утратили. Период бюрократического застоя, безразличия и бездушия сменился эрой злого, жестокого единовластия. Многие думали, что директорство Свешникова будет недолгим. Увы, оно длилось 28 лет. Мне могут возразить, что за это время консерватория воспитала немало знаменитостей. Да, но не благодаря, а вопреки. К тому же таланты такой необъятной страны в конце концов оказываются в Московской консерватории.

Свешников издевался над талантливыми музыкантами, унижал их. Дарование некоторых так и не расцвело. Святая святых для нового ректора были личные интересы и звонок из райкома партии.

Поначалу он устроил в консерваторию свою жену, бездарную певицу, и сделал ее профессором. Он постоянно присутствовал на приемных экзаменах у вокалистов. Отбирал лучшие голоса и отдавал их только своей жене. Один Бог знает, сколько этим было загублено талантов! Притом он держал себя абсолютно нагло, не таясь, никого не стесняясь. А ведь вокал в консерватории преподавали люди, составлявшие в прошлом гордость русской

певческой школы. Когда Свешникова сняли, все ученики его жены одновременно подали заявления об уходе из ее класса. Все произошло мгновенно, по никто не удивлялся: настолько это было само собой разумеющимся. Таким образом, «профессор» Оксана Свешникова в консерваторию больше не явилась.

Одно время в консерватории с особым почетом произносилась фамилия Нужин. Он был одним из крупнейших реалистов в Советском Союзе. Пока воодушевленный советский народ строил светлое будущее, Нужин смотрел в настоящее и строил дачу Свешникову. Заместитель ректора по хозяйственной части, он имел в своем распоряжении стройматериалы и рабочих для ремонта консерватории и общежития. Студенты всегда молоды и их не волнуют неполадки в зданиях. За ними светлое завтра. А дача нужна для нашего сегодня, для Свешникова. Ни он сам, никто другой не делали из этого секрета. Как ректор и человек Свешников нравился властям, и этого было вполне достаточно.

Имя Свешникова вызывает во мне особые чувства. Он, и только он – причина преждевременной смерти дорогих и близких мне людей: моего учителя Григория Гинзбурга и моего друга Яши Флиера.

В свободном мире, где большие артисты абсолютно независимы, не могут понять, как партийный чиновник может властвовать и издеваться над прославленным музыкантом. Директором Московской филармонии одно время был В. Заходит к нему Гилельс обсудить план своих концертов, а он отвечает: «Это решает оперативный отдел». Гилельс тут же вышел и больше года в Москве не играл. Не зря говорят: «Дай свинье рога, она всех забодает».

Очень уважаемый мной режиссер Юрий Любимов как-то сказал: «Как может инженер-химик [министр культуры Демичев] заниматься театром?» Исключительная наивность. Тот самый директор Московской филармонии в прошлом был учеником прославленного пианиста. Значит, с детства он играл мажорные и минорные гаммы, фуги Баха, сонаты Моцарта и многое другое, что не помешало ему остаться негодяем. А культурный негодяй страшнее обычного.

И те, и другие, находившиеся «у руководства», очень нравились властям и снимались внезапно, волей случая. Так произошло и со Свешниковым — после двадцати восьми лет царствования. К слову, как хормейстер Свешников свое дело знал. Но в его личности сочетались мелочность ничтожества и жестокость садиста. Он невзлюбил Григория Гинзбурга. Когда для последнего пришел срок конкурса [на должность], результат которого решается тайным голосованием на художественном совете, Гинзбург прошел большинством в два-три голоса. Это давало ему право остаться в консерватории, но для такого прославленного артиста, как Григорий Гинзбург, большинство в два-три голоса было унижением. И он ушел из консерватории.

Если педагог, бывший более тридцати лет одним из самых блестящих профессоров консерватории, ее украшением, собирающий аншлаги в Большом зале, проходит при таком большинстве, то здесь кроется подлость, организованная начальственным давлением. Шила в мешке не утаишь. Все это знали, почти в деталях. Знали и тех, кто активно помогал Свешникову в этом гнусном деле.

Уйдя из консерватории, Гинзбург занимался только концертной деятельностью. Это была вершина его творчества. Играл он как никогда раньше. Его турне в Югославии имело шалашинский успех. Он готовился к гастролям в Польше. Но уход из консерватории стал для него жестоким ударом. Во время концертной поездки с ним случился инфаркт. Три месяца он пролежал в больнице в городе Петрозаводске. Пришел в себя и снова начал играть. Но вскоре опять заболел и уже не поправился.

Гольденвейзер скончался на девять дней раньше Гинзбурга, прожив восемьдесят шесть лет. Если учесть всю его творческую деятельность, то это завидный возраст. Гинзбург был его сыном. Вынести всю эту «эпопею» было выше его уходящих сил. Многие говорили, что история с Гинзбургом позором ляжет на могилу Свешникова. Л таких позорных пятен на совести Свешникова полно. После Гинзбурга он взялся за Флиера, Перестав играть из-за болезни руки, Флиер целиком посвятил себя педагогике. Его сверкающий талант проявился и здесь, и он добился больших успехов. Но в стране, где все определяется показухой, решающим моментом являются показатели. В сфере музыки — это лауреатство. Музыкальное

руководство набиралось из самых бездарных, самых невежественных личностей или из самых ловких и циничных карьеристов. Их волновало лишь собственное продвижение по служебной лестнице. Чиновники, безразличные к музыке. Давай им показатели. И лауреатство стало эталоном для молодежи. Это отвратительное явление породило стандартизацию исполнительства и дало возможность выхода на эстраду тем, кто не имел на это права. Очень часто премии зависят не от мастерства артистов, а от жюри. При таких условиях появление яркой индивидуальности почти исключено. Например, Гульд играл только Баха, Шнабель — только классиков, Рахманинов — только романтиков, а если играл классиков, то не так, как принято. На конкурсе Чайковского таким не удалось бы пройти даже на второй тур. Вспоминаю, как Рихтера, уже прославленного музыканта, заставили играть на Всесоюзном конкурсе.

В Малом зале полно людей. Встать негде. А Рихтер не пришел. Железный закон бюрократизма — не явился, значит выбыл — здесь не сработал. Его вынудили прийти на другой день. Говорили, что он согласился под давлением Нейгауза, не желая его подводить.

Считалось престижным, если у педагога в консерватории пять-шесть лауреатов. У Нейгауза их было четырнадцать, а у Флиера — двадцать пять. Возможно, и больше. Но для профессионального музыканта важен другой критерий. Светлой памяти Гольденвейзера и Нейгауза играли Святослав Рихтер, Лазарь Берман, Татьяна Николаева. А скольких исполнителей мирового масштаба воспитал Флиер! Я убежден: придет время, и о Флиере будут говорить как о самом выдающемся педагоге.

Перечислять лучших учеников Флиера несколько сложно; сегодня это пианисты высшего класса. Могу ошибиться в очередности, могу кого-то забыть. Лучше отдать предпочтение представительницам прекрасного пола. Назову двух разных, как небо и земля: Белла Давидович и Виктория Постникова, Они величайшие пианистки мира, вне всяких сомнений.

До войны, когда Флиер только начал преподавать, среди его первых учеников была очень хорошая пианистка Маша Постникова. Мы дружили и проводили время в одной компании. После войны она смертельно заболела, оставив матери ребенка без отца и без средств. За два-три дня до своей кончины она позвонила Флиеру и попросила его не забывать о ее дочке. Понять ее может тот, кто знал бесконечную доброту и щедрость Флиера.

Выжить Флиера из консерватории так, как выжили Гинзбурга, было невозможно. Конвейерный способ здесь исключен, И Яше начали медленно, планомерно отравлять жизнь. Лишь последний негодяй способен на такие дела.

В случае с Гинзбургом проводилась «воспитательная» работа с педагогами. Иногда и порядочный человек побоится вызвать недовольство всевластного директора, известного своей жестокостью. В случае с Яшей «воспитательная» работа перешла на молодежь. Их принуждали лгать, подличать, применяя политику «кнута и пряника».

В истории консерватории не было педагога, от которого не ушел бы тот или другой ученик. Неприятно, но случается. Вдруг от Яши ушли сразу два ученика. Молодой профессор, к которому они перешли, не зная подоплеку дела, обрадовался, думая, что поднялись его акции.

А подлость была примитивной. Этим двум ученикам на ответственном уровне в обмен на уход от Флиера обещали возможность участия в конкурсе. Вот так.

Но был случай похлеще, когда Свешников, желая покрепче ударить по Флиеру, обратился к помощи «извне».

У Яши была талантливая ученица Ляльчук. Она завоевывала призы на престижных международных конкурсах и успешно концертировала по Советскому Союзу, возможно, и за рубежом. Поэтому ее оставили при консерватории. Естественно, делающие первые шаги — самые уязвимые. И если ее выгнать, да еще со скандалом, Флиер получит еще одну хорошую оплеуху. По как? Работает она хорошо. Не опаздывает, не пьет. Морально устойчива. Думали, думали... и придумали. Однажды, во время гастролей в Кишиневе, к ней обратились с просьбой прослушать ученика. Такое принято. Она его прослушала, высказала свое мнение, дала советы. Через месяц приезжает этот парень на приемные экзамены в Московскую консерваторию. И еще до их начала заявляет, как и было предусмотрено, что он у Ляльчук

брал частные уроки по подготовке к экзаменам в консерваторию. Людям свободным такого не понять, но нам, прибывшим оттуда, все ясно.

Ляльчук потребовала очной ставки. И он нагло утверждал, что все обстояло именно так. Как выяснилось потом, он был крайне бездарен и на переходных экзаменах получил двойку по специальности. Но его без проблем зачислили в студенты...

Следует воздать должное исполнителям сценария: не шпана какая-нибудь, а люди солидные. Дали слово — сдержали. Ведь приемные экзамены в Московскую консерваторию проходят на очень высоком уровне. И втащить подобное существо не так-то просто. Могли и обмануть. Все было шито белыми нитками. Всем очевидно, что приехавший с периферии на приемные экзамены не начнет со скандала. Тем более музыкальная посредственность. Поэтому на собрании, созванном Свешниковым, многие выражали свое недоверие к состряпанной истории и называли ее чепухой и грязью. Но Александр Васильевич пришел не для того, чтобы слушать речи. Дело было сделано. Ляльчук уволили.

Несмотря на преклонный возраст — Свешникову было уже за восемьдесят, — он был не по годам энергичен, подвижен. Яша Флиер всегда удивлялся, как охотно Свешников приходил в общежития на собрания, где выяснялись сексуальные недоразумения между какой-нибудь студенткой и студентом. Хотя секс был «в компетенции» партбюро.

После случая с Ляльчук Яша пошел на прием к Свешникову: высказаться и выяснить, до каких пор это будет продолжаться. На предложение сесть Флиер, опасаясь микрофона, указал на два кресла в углу, сказав решительно: «Нет, я с вами хочу говорить там». И Александр Васильевич без возражений пересел туда. Неплохая пощечина для начала. Разговор для Флиера был трудным, а для Свешникова весьма неприятным и поучительным. Я видел, как тяжело Яше, когда он рассказывал мне о своей жизни в консерватории. Иногда на его глаза наворачивались слезы.

Диктатура Свешникова длилась почти тридцать лет. Безусловно, она подорвала здоровье Флиера и стала причиной его преждевременной смерти,

В один прекрасный день, совершенно неожиданно, Свешников слетел. Так Демичев начал свою деятельность в качестве министра культуры. Разумеется, он понятия не имел о том, что творится в консерватории, и она ему была, как говорится, «до фонаря».

Рассказывали следующее. Когда дочь Демичева поступила в консерваторию, Свешников определил ее к своей жене, очевидно, желая быть в контакте с высокопоставленным лицом. Но он не учел «достоинств» своей жены как вокального педагога, с одной стороны, а с другой — что дети таких людей не привыкли приспосабливаться, а тем более что-то терпеть. Спустя некоторое время она выразила желание учиться у квалифицированного педагога. Просьба ее была немедленно удовлетворена. Вероятно, в семье Демичева ситуация обсуждалась не раз. Став министром культуры, Демичев снял ректора буквально в первый же день. Свешников побежал на прием, но Демичев отказался его видеть. Нечто подобное я наблюдал у себя в Донецке. Начальство в Советском Союзе ставит превыше всего личные интересы и настроение.

Иногда среди моих учеников попадались дети руководящих работников. Невольно я наблюдал их жизненный уклад, мораль и проч. Помимо узаконенных привилегий, они постоянно получали дополнения в виде подарков, взяток, а затем шли «довески», в соответствии с особенностями индивидуума. Сюда входили роскошные вышивки, красивые женщины, лихие рыбалки и т. п. Общим для всех была забота о карьере детей и защита диссертации. Обычно высокий руководитель обеспечивал себя ею на всякий случай. Как правило, писали их подчиненные. Таково было начальство, вращенное сталинизмом.

Над культурой страны царил произвол ведомства Жданова. Лучших деятелей литературы и музыки гнали, травили. Все интересное, талантливое душилось. Новая постановка вопроса требовала специфического подбора руководящих кадров. Для Московской консерватории они нашлись в лице Шебалина и Свешникова.

P.S. Из книги «Кирилл Кондрашин рассказывает» известно, что Свешников дважды пытался протащить свою жену на вторые роли в Большой театр.

Во второй раз все было тщательно подготовлено. Голованов и другие, хотя и говорили:

«Очень плохая певица», — по старались вовсю «для Александра Васильевича». Однако трое, в том числе Кондрашин, не поддались «обработке» и на художественном совете заявили «нет».

Естественно, после этого Свешников не допустил сына Кондрашина к экзаменам в руководимое им хоровое училище. Цитирую Кондрашина: «Я тогда в первый раз столкнулся с открытым цинизмом».

Думаю, о Свешникове еще будут вспоминать. «Светлой памяти» Александр Васильевич памятник себе воздвиг нерукотворный.

## КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВУЗЫ

Совершенно ясно что историю с ученицей Флиера Ляльчук «оформляли» компетентные лица. Мне известны еще два случая (убежден, что их было больше), когда не менее компетентные товарищи в том же плане решали внутриконсерваторские проблемы.

Летний отпуск я всегда проводил на Рижском взморье. И там встречался с многословным эксцентричным профессором одной из периферийных консерваторий. Он говорил: «Сейчас справедливости нет. Если вы с кем-то в конфликте, то должны доказать, что он плохой специалист. Если у вас конфликт с преподавателем марксизма-ленинизма, вы обязаны доказать, что он плохой марксист». Я ответил: «Как я могу быть в конфликте с преподавателем марксизма-ленинизма, если я полностью согласен с решениями всех съездов, пленумов, даже тех, которые будут?» Для меня конфликт преподавателя фортепиано с преподавателем марксизма-ленинизма — нечто вроде бреда. А вот он умудрился.

Дальше сценарий шел, как по маслу. Уже давно во всех консерваториях принято, что перед экзаменами абитуриенты играют педагогам, берут у них консультации. После нескольких консультаций этот профессор был застигнут в гостиничном номере у одной абитуриентки. Причем в ситуации, исключающей всякие оправдательные аргументы с его стороны. Дело в том, что его конфликт по линии марксизма-ленинизма был с преподавательницей, женщиной, состоявшей в законном браке с начальником

местных компетентных органов. Удивляет другое. В Советском Союзе получить номер в гостинице очень сложно и очень дорого. Как правило, приезжающие абитуриенты останавливаются на частных квартирах. Обычно у пенсионерок-старух. Но профессор так спешил «на амур», что не успел подумать о такой, казалось бы, простой вещи — что его могут просто подставить. Его сразу же уволили. Конфликт двух педагогов был исчерпан.

Другой случай — трагический. Произошел он в Донецке с близким мне человеком, преподавателем фортепиано Глебом Владимировичем Гавриком, через несколько лет после создания там музыкального пединститута.

Гаврик работал в этом институте. Он в свои тридцать с лишним лет был холост. Никаких сомнительных связей за ним не числилось. Однажды, после летней сессии, когда подавляющее большинство преподавателей и студентов разъехались на каникулы, уборщица, открыв дверь одного из классов, застала его с ученицей. Ничего страшного, даже по строгим советским понятиям, в их позе не было. Но все же она не предусматривалась учебной программой. Казалось бы, уборщице следовало улыбнуться и уйти. Но нет.

Известно, что материальные трудности в СССР являются почти всеобщим уделом. В городах в самом бедственном положении находятся уборщицы. Зарплата их мизерна. Как они существуют, я даже не представляю. Поэтому в большинстве своем они злы, завистливы и раздражительны. И уборщица по-деловому пошла в партбюро.

От партбюро в Советском Союзе нет спасения. Они суют нос во все закоулки и нюансы личной жизни. Ходил следующий анекдот. Жена жалуется в партбюро на мужа, что он с ней не живет. Вызвали его на бюро и спрашивают: «Почему ты, товарищ Иванов, не живешь со своей женой?» Он умоляюще отвечает: «Товарищ секретарь, я импотент». Тогда секретарь, стукнув кулаком по столу, кричит: «К черту импотент! Прежде всего ты коммунист». (Это правдоподобно.)

Секретарем партбюро в Донецком музыкальном пединституте была одна партийная тетя. Она командовала абсолютно всем. Даже выгнала трех ректоров. И поставила своего — бездарного пианиста и неприятного типа Ч. В течение десяти дней он был принят в партию и



оформлен ректором. Тетю звали Марина. Шутили, что институт полностью замаринован.

Смотри в корень. Марина действительно приходилась теткой любовнице первого секретаря обкома партии товарища Дегтярева. Ее племянница к тому времени возглавила отдел науки и культуры обкома партии. Как женщина она была олицетворением свежести и здоровья. На Украине про таких говорят: «Люблю українську природу, та по-вну пазуху цыцок». Надо думать, что эти «деловые» качества покорили Дегтярева и приблизили ее к современной науке. Как-никак бразды правления оной были полиостью в ее руках. Сам Дегтярев был мощным партийным феодалом, жестоким и твердым. Его называли «карманный Сталин». Но продолжу начатое.

Марина не смогла поднять партийный шум: начались каникулы, и все разъехались. «Спектакль» перенесли на сентябрь. Дальнейшая трагедия заключалась в том, что студентка приходилась дочерью одному из близких Дегтяреву начальников. Чтобы не было шума вокруг фамилии ее отца, решили снять все основания для обсуждения, а заодно и наказать Гаврика. Убить, а затем почетно, с уважением похоронить. Что и было сделано.

В компетентных органах знают всё: где логична свадьба, а где — похороны. Понятно, что на свадьбу любой поедет охотнее. От своих друзей из Симферополя Гаврик получил приглашение на свадьбу. Оттуда привезли его тело. С проломленной головой и выбитыми зубами. Его симферопольские друзья, узнав о телеграмме и всем последующем, были в шоке.

Высок уровень дисциплины в Советском Союзе. Как трудовой, так и бытовой. Ближайшими друзьями Гаврика

в Донецке были два патологоанатома в звании доцентов. Уж они-то понимали лучше всех. Но подходили чуть ли не к каждому и говорили: «У него был паралич сердца». А на вопрос о проломленной голове отвечали, что упал. Безнаказанность и самоуверенность властей иногда переходят в глупость. Убийство налицо. Скажете: ограбили? Тысяча рублей в его кармане осталась нетронутой. К слову, поражает «порядочность» оперативных работников. Ведь во время всеобщего злоупотребления служебным положением (от мелкого продавца до директора Московской консерватории и даже министра) каждый брал, что мог. Кто им мешал залезть в карман? Но у них было задание ликвидировать объект, и никакого произвола. Дисциплина на высоте. Во всем видны порядок и законность

### **ОБ АРНОЛЬДЕ КАПЛАНЕ\***

Он был моим самым близким другом с детских лет. А когда я оказался в Донецке, то летние каникулы (около двух месяцев) он, Яша Флиер и я проводили на Рижском взморье. Жили рядом и, разумеется, вечерами были вместе (и не только вечерами). Арнольд Каплан был яркий блестящий пианист, любимец Гольденвейзера. При этом он обладал незаурядным талантом актера и художника. Он мог удивительно точно изобразить голос знакомого ему человека, манеры движений, походку и т. д. Он прекрасно рисовал карикатуры. Глянув, люди смеялись, называя имя.

Мы встретились еще до моего приезда в Москву, на курорте в Железноводске. Подружились сразу. А перед отъездом вдвоем играли концерт в правительственном санатории. После концерта в нашу честь был дан банкет. Боже, чего только не было на том столе. А ведь тогда еще существовала карточная система распределения продуктов. Люди не доедали. Это был единственный из множества тамошних санаториев, где у входа постоянно стоял дядька с наганом (в те годы основное оружие милиции и армейских командиров), охраняя будущих «врагов народа».

К концу каникул я уехал в Москву и поступил в особую детскую группу при Московской консерватории, позже преобразованную в ЦМШ. В Дмитровском общежитии консерватории наши с Капланом комнаты были рядом. А еще точнее — рядом, разделенные стеной, стояли его рояль и моя кровать.

Его мама, умная и добрая женщина, в отличие от остальных «талантливых мам» пользовалась уважением студентов. Некоторых «талантливых мам» высмеивали, других не

---

\* Эта глава написана автором для настоящего издания (примеч. ред.).

замечали, а мама Арнольда слышала от студентов: «Здравствуйте, Мария Яковлевна».

Из-за своего веселого нрава и таланта Арнольд Каплан был главным героем консерваторских вечеров и домашних вечеринок. Он изображал диалоги профессоров так точно и интересно, что они сами всласть смеялись. А в домашних условиях изображал игру Юдиной, Гольденвейзера, Игумнова и Фейнбсрга. В основном эксплуатировался «Кобольд» Грига и что-то характерное из исполняемых ими произведений. Арнольд импровизировал гениально. Я не боюсь этого слова. Ему называли мелодию (любую, хоть блатную песню), и он ее аранжировал под того или иного композитора. Особенно трудно играть под Шумана. Но он играл все сразу и уморительно смешно. Этого никто не мог. Восхищались и смеялись все, включая и Славу Рихтера.

Некоторые в подражание сочиняли подобное дома, как композиторы. А Арнольд играл с ходу на любой заказ. И еще он потрясюще импровизировал джаз с изысканной гармонией. Арнольд любил джаз. Джаз тридцатых и сороковых можно было любить. Гленом Миллером любят по сей день. Разумеется, такое не оставляло девочек равнодушными, и они в него влюблялись, не стеснясь. Но, увы, Арнольд уже сам был по уши влюблен в самую интересную студентку консерватории Аллочку Воробьеву, ставшую позже его женой.

Я чуть отвлекусь и скажу, что чемпионом в женском вопросе был Яков Флиер. Перед войной музыкальная Москва разделилась на гилельсистов и флиеристов (я был гилельсистом, и Яша это знал). К слову, они сами между собой были друзьями. Но по Яше женщины с ума сходили. И вот однажды был удивительный случай. Женщины похитили Яшу. Произошло это так. Он играл в Большом зале. В первом отделении программы был Бах (Партита до минор и переложения Ф. Бузони — хоралы и Чакона). Второе отделение — Вагнер; завершали концерт «Вступление и смерть Изольды» и увертюра к «Тристану». Разумеется, играл он потрясюще, и успех был огромный. Все закончилось. Выходит он из служебного входа, неожиданно возле него оказываются три osoby с прикрытыми лицами (романтика), одну из которых он знал, и тянут его к машине... Наконец они на подмосковной даче. Дверь заперта, ему показывают ключ, заявляя, что его выпустят после того, как он с каждой из них проведет ночь, что означало три дня быть там. Яша этот ультиматум принял без сопротивления. Он к женщинам хорошо относился. Три дня Яши нет. Мама и близкие в отчаянии. Московская милиция поднята па ноги.

Возвращаюсь к теме более серьезной. Она показывает, как в то время одна случайность могла повернуть судьбу музыканта, человека.

В 1937 году проходит Всесоюзный конкурс пианистов. Председатель жюри — А. Б. Гольденвейзер. В те времена он всегда возглавлял подобные дела. Конкурс проходит в Малом зале. Выходит играть Арнольд Каплан. В программе Прелюдия и fuga до мажор Баха («ХТК», II том), Соната № 32 Бетховена, пьеса «Туркмения» Шехтера, до-минорный ноктюрн и два этюда (21-й и 23-й) Шопена и «Испанская рапсодия» Листа\*. Играет увлеченно, на подъеме, Закончил... Зал полон, и публика заревела, как стадо быков... Пришлось даже объявить непредусмотренный перерыв.

После третьего тура, где он играл Второй концерт Рахманинова, предстоит заседание жюри. Гольденвейзер был нормальным человеком и поступал как любой бы на его месте, то есть старался тянуть своих. А кто бы отказался? В данном случае перед Стариком была проблема. С Арнольдом просто и ясно. Однако в конкурсе успешно шел его ученик Арам Татулян, и Старик решил, что он должен быть за Арнольдом вторым. За время конкурса Старик изнервничался (от него играли еще два ученика) и не смог себя сдержатъ. Сорвался... Произошло следующее. Как только Старик открыл заседание жюри, с разных сторон послышалось: «Каплан — первая премия, Каплан — первая премия». И издерганный Старик заорал на всех: «Молчать! Я еще никому слова не давал». И вдруг Нейгауз громко сказал: «Вы жулик, Александр Борисович». В ответ ему — Старик на «ты», как на базаре: «А ты авантюрист! Ты думаешь, я не знаю твои варшавские проделки? Роза [Тамаркина] должна была получить первую премию, а ты своему Заку устроил». А Зак тут же сидит как член

---

\* Конкурсная программа Л. Каплана, указанная мною, исполнялась на двух турах.

жюри. Уточняя, Нейгауз был членом жюри на конкурсе в Варшаве. Видные музыкальные деятели Польши были родственниками Нейгауза, а гордость тогдашней музыкальной Польши композитор Шимановский приходился Нейгаузу двоюродным братом. Короче, своим криком Старик настроил против себя членов жюри. В итоге: I премию получил Исаак Михновский, II — Арнольд Каплан, а III — Арам Татулян. Этот результат решил судьбу Арнольда.

Предстоял конкурс в Брюсселе, а кандидатов для участия в нем утверждали не музыканты, а те, кого перевозносит великий гимн. По их логике, если первую премию получил Михновский, значит едет он, а по партийной линии поехал Серебряков. При трех турах они не прошли на второй. Триумфальными победителями конкурса стали Гилельс и Флиер. Их отобрали в Брюссель как молодых, но уже признанных мастеров. Этот конкурс был вершиной предвоенной музыкальной пропаганды — со встречами и митингами на вокзале и портретами в учебных заведениях.

Вся эта эпопея надломила Арнольда. В нем не было сокрушающей целеустремленности, как у Гилельса, Когана и некоторых других. Ему нужен был стимул, а после войны для него это было исключено. Внешне вроде бы все было нормально. Как солист филармонии он успешно концертировал по Союзу и материально был обеспечен. Его жена была очень умным человеком и вызвала симпатии своей удивительной порядочностью. Никто не относился к ней безразлично. Но в реальности у него не было перспективы для развития. Каждый раз встречалась какая-то преграда. Зачастую ему давали играть только в сборных концертах. В конце концов возникла мысль об эмиграции.

Подготовка к отъезду проходила тяжело. Какое-то время они были «в отказе». Арнольда уволили из филармонии. Младшего сына Женю исключили из консерватории, а старший, отличный инженер, работал лифтером. Но, слава Богу, обошлось, они выехали и обосновались в Нью-Йорке. Арнольд начал играть. На его концерте в Коста-Рике присутствовал президент. Но вскоре Каплан заболел, и все остановилось. Два раза я ездил к ним в гости. Третий раз съездил, чтобы посетить их могилы. Аллочка умерла вслед за ним. Они лежат рядом. Лучшие воспоминания моей жизни — это время, проведенное с ними в Москве и на Рижском взморье. Если можно любить умерших людей, то их и Яшу Флиера я люблю, пока сам жив.

### **АНТИСЕМИТИЗМ В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ**

В нашем веке мрачной тучей повисли над Европой две «чистоты». В 1933 году появилась «арийская чистота» Гитлера. В 1943-м заявила о себе «идеологическая чистота» Сталина. Их общий подтекст — антисемитизм. Жестокий палач, «арийская чистота» в Германии унесла шесть миллионов жизней. «Идеологическая чистота» в Советском Союзе — уличная проститутка. Ее забота — привлечь клиента. Она применяет косметику с учетом сезона и погоды. В музыке ее поначалу доверили Шебаину. И он, возглавив Московскую консерваторию, полностью оправдал надежды вышестоящих товарищей, выгнав всех евреев.

Но когда в Москве появлялись богатые американские клиенты, в ход шла иная косметика. Соломона Михоэлса отправили за деньгами в Америку, Шебаин осторожно (по одному) возвращал ранее изгнанных педагогов. Кого-то и на конкурс послали. Различие этих нечистот в том, что главным словом пропаганды «арийской чистоты» было «еврей», а из пропаганды «идеологической чистоты» его категорически изъяли.

Началась «холодная война». Можно поменьше стесняться и оглядываться. Но слово «еврей» из-за Гитлера устарело. Ладно. Мы другие. Мы будем говорить «космополит». Важно не название, а суть.

И началось...

Последние годы жизни Сталина. Казалось, его культ уже охватил вселенную. Но нам нет дела до вселенной. Вернемся в Московскую консерваторию. Ее охватили «культики»: Шебаин, за ним — Свешников.

До войны много значил заместитель ректора по учебной части — проректор. С 1932 по 1934 годы пост этот занимал А. Б. Гольденвейзер. Теперь же проректор превратился в заместителя директора. И только. Абсолютная монархия. В быту появилось слово «хозяин». Он делал все, что хотел. На Шебаина было пожаловались — обожглись. Все стало ясно.

Наша партия полностью доверяла «достойным». Лишь им было поручено избавляться от евреев при первой же возможности. По поводу и без. И на Украине, особенно в Киевской консерватории, учинили полный разгром. После ночного совещания с высоким начальством ее основательно «подчистили». Или, как тогда говорили, — «разжидили». Был 1952 год. Разгар борьбы с «космополитами». Естественно, у нас все начинается с центра. А потому в консерваториях Харькова и Одессы все выло и гудело, но ведущих педагогов выгнать не успели. Батюшка испустил дух. После чего ходил анекдот о трех *не*. Не принимают. Не увольняют. Не восстанавливают.

Позже культ личности был осужден. Но антисемитизм остался и прочно утвердился в советской жизни.

Время моей молодости. Я скажу о том, что пас тогда волновало. Пожалуй, не было и десяти минут в день, чтобы мы не думали о музыке. Мы хотели «учиться, учиться и учиться», как завещал Ленин. Главной мечтой была аспирантура. Совершенно страшное состояние, когда много над собой работаешь, видишь результаты, успехи, превосходство над другими, а тебе решительно говорят: «Нет». Прошли годы. Впитанное мною осталось и воспринималось как естественное явление, как приход дня после ночи. И вот я в Германии. Здесь постоянно, каждые год-два, проходят молодежные конкурсы. Оглашаются итоги. Первую премию поделили японка и еврейка. Но я ведь *советский* музыкант. *Почему премию дали за игру, а не за фамилию?* Я ничего не могу понять. А немцы не понимают меня. А дело в том, что в жюри сидят местные музыканты. Их пригласили оценить исполнение. Их интересует музыка и только музыка. Они ее любят. Это их профессия. При чем тут бабушка? Объяснять им — только время терять. Все равно что сказать: «Ешьте суп вилкой».

Виденное и пережитое изуродовало наше мышление. Фактически из нас вытравлено чувство профессии.

Но оставим в стороне лирическое отступление и вернемся в Москву сороковых и начала пятидесятих годов.

Батя еще дышит. С первого дня создания Советский Союз провозгласил себя страной Свободы, Равенства, Братства. Здесь все люди, независимо от национальности, могут учиться и творить. И, естественно, к экзаменам в московскую аспирантуру допускается каждый. А дальнейшее решает приемная комиссия. Вроде все нормально. Но можете играть как угодно, даже архигениально. Если вы «инвалид пятой группы», вас не зачислят. Не велено пущать и все тут. Это общеизвестно. Но некоторые играли, ибо велика сила инстинкта; чем же еще объяснить происходившее?

Те времена — творческая вершина Леонида Когана. Лучше он никогда не играл. Во всем мире таких — раз, два и обчелся. И Коган три раза, повторяю, три раза, держал экзамен в аспирантуру. Третий раз — после Брюсселя. Иначе он мог бы еще тридцать раз держать экзамен.

Итак, экзамены в аспирантуру. Как оформить технически провал блестящего музыканта? Очень просто: «идеологическая чистота». Правильный подбор и расстановка кадров («кадры решают все» — Сталин). Называлось это или «коллоквиум», или «собеседование», на котором выяснялось, что в вопросах музыки ваши знания недостаточны, вы слабо эрудированы. Вам нужно больше работать над собой, больше читать, слушать музыку и вообще интеллектуально расти. При такой ситуации экзаменатор должен быть изобретателен, находчив, изощрен. Надо от дать должное некоторым из них, оказавшимся на высоте положения.

К примеру, держит экзамен в аспирантуру альтист Рудольф Баршай. Альтист, какого Россия еще не знала. Когда Баршай брал в руки альт, все отступало, уходило в тень. И вот на «собеседовании» задают ему вопрос: в чем разница между пассакальей и чаконей? Он думал, думал и не смог сказать. В аспирантуру его не приняли. Позже он спросил у экзаменатора: «Извините, в чем же все-таки разница?» Оказалось — ни в чем. То есть его спрашивали о том, чего нет. Любопытно, что подобные вопросы изобретали не дворники и не истопники, а профессора Московской консерватории. Культурные струнники Москвы. На одном из таких экзаменов скрипичное место досталось не Леониду Когану, а некоей Карповой.

Был конец сороковых годов. Заканчивалось мое студенчество. Жил я на улице Станкевича. Она начинается у крыла здания консерватории, где магазин «Ноты». На углу была и, возможно, сейчас есть маленькая церквушка. До войны в ней проходила служба, после войны ее превратили в склад. В крыле здания консерватории, где сейчас расположен Белый зал, жил профессор Александр Федорович Гедике. Обаятельнейший человек, любимец всей консерватории. К нему не приставало ничего сомнительного, плохого. Он был как бы из другого мира. Держал четырнадцать кошек и двух собак. Из дома, выходил обязательно с мешочком для корма птиц, и они мгновенно слетались. Основным для него было соблюдение режима дня. С шести до восьми утра ежедневно он играл на органе в Большом зале. Играл прекрасно. Его концерты проходили при аншлагах с огромным успехом. С детских лет я занимался у него по камерному ансамблю. В те годы он проводил уроки на дому. В большой уютной комнате стояли два рояля, шкафы для нот, печка-буржуйка, какие-то сундуки, и гуляли кошки.

Почти каждый день он проходил с авоськой по улице Станкевича. Мы здоровались. Однажды он меня остановил и говорит: «Я жил при царе, жил при советской власти, но такого бардака не видел. Коган — лучший скрипач в Москве, а вместо него взяли рядовую скрипачку Карпову», — и выматерился. Я просто опешил. Я знал его с тридцать четвертого года, но не мог даже представить, что ему известны такие слова. А он продолжает: «Конкурс у нас — лавочка здесь. Конкурс в Праге — лавочка переезжает туда». Я молчал. Он развел руками и пошел дальше.

Музыка — это служение. Подобно священнослужителю, отдавшему себя Богу, большой музыкант должен отдавать себя музыке. И музыка, в отличие от жены, никому не прощает измену.

В первые послевоенные годы звукозаписи не было. Передачи по радио шли сразу в эфир. Молодой, известный только в музыкальных кругах скрипач Леонид Коган должен играть концерт Паганини с труднейшей каденцией *Cоре*. За пять-десять минут до начала исполнения он звонит Бусе Гольдштейну и говорит: «Включи радио, я сейчас играю Паганини. Обрати внимание, как все будет абсолютно точно». Концерт этот он играл впервые и был настолько уверен в себе, воодушевлен, что еще до начала игры наслаждался, предвкушая свое торжество.

Великое счастье артиста. Никакие всевластные тираны партии и государства не могут дать или отнять его. Здесь они абсолютно беспомощны. Позже, будучи в большой милости у власти, Леонид Коган потерял это счастье.

В те годы из-за сложившейся ситуации экзамены в аспирантуру вызывали большой интерес. Многие приходили их слушать. Игравшие, зная, что перед ними непреодолимая преграда, готовились особенно тщательно. Обида и злость придавали им воодушевление и силу. Они играли как никогда. Помню, одна из лучших учениц Нейгауза Белла Цопык играла «Карнавал» Шумана. Прошло более сорока лет, но я не забыл ее исполнения.

Как правило, у пианистов приемные комиссии возглавлял А. А. Николаев. Но и при нем иногда бывали просчеты. Была в консерватории блестящая пианистка Фрида Бауэр. Позже она стала известна как партнерша Ойстраха. С ней случилось «недоразумение»... ее приняли в аспирантуру. Но через три месяца ошибку исправили. Фриду Бауэр беспардонно отчислили, а вместо нее взяли пианистку, тянувшую не больше чем на педагога общего фортепиано.

Однажды произошла комедийная ошибка. При аспирантуре имелось заочное отделение. Обычно соблюдался местный уровень, и потому попадал кто-то из москвичей. Но в интересах документации (то есть для охвата страны) решили принять экзаменующегося с периферии. Появился парень с партийно-государственной фамилией. Смотрелся приятно. Играл. При таком уровне игры москвичи любой окраски об аспирантуре и не думают. Идет милое собеседование без чакон и пассакалий. Его спрашивают о фортепианных концертах для левой руки. Для пианиста это детский вопрос, и ему ставят «пять». Партийно-кадровый подход соблюден. Но случайно на столе у комиссии оказался список играющих лишь с перечнем фамилий и инициалами. Его попросили принести документы. Он принес. Их просмотрели...

Рассказывали, что Николаев изменился в лице, его рука начала трястись. Перед комиссией

стоял тривиальный «инвалид пятой группы». Но «что написано пером, не вырубишь топором». Проблемы возникли и у них, и у него. Его заставили уехать из родного Харькова, направив работать в город Артемовск, дыру возле Донецка.

Всевозможные чудеса случались при направлении выпускников на работу. Одним из самых популярных пианистов в Москве был лучший ученик Игумнова Наум Штаркман. Он получил направление в город Калугу на должность *концертмейстера филармонии*. В соответствии с дежурным партийным лицемерием ему дали понять, что его опыт нужен для поднятия уровня солистов периферийных филармоний, потому что он талантливый музыкант и т. д., и т. п.

Следующий случай — самый потрясающий. Но прежде небольшое отступление.

В 1949 году, впервые после войны, в Варшаве проводился конкурс имени Шопена. Из проходивших до этого трех конкурсов в двух победителями стали советские пианисты — Оборин и Зак. Затем, в 1955 году, Советский Союз представляли уникальный Владимир Ашкенази и великолепные исполнители Шопена — Наум Штаркман и Дмитрий Паперно. К тому времени, в результате охвата Польши «идеологической чистотой», Ашкенази получил вторую премию. Позже в Варшаве произошел скандал с Иво Погореличем.

Тогда, в 1949 году, в консерватории у профессора Игумнова училась девушка из Баку — Белла Давидович. На нее возлагались все надежды, только о ней говорили. Белла Давидович блестяще выступила и без всяких связей с бабушкой, политикой и конъюнктурой стала победительницей конкурса. Это был триумф.

Каждое ее последующее выступление свидетельствовало об огромном таланте и неповторимой индивидуальности. С присущим ей блеском она лучше всех играла на выпускных экзаменах консерватории в 1951 году. И как выпускница получила назначение *концертмейстером эстрады* в город Киров. Позволю себе повторить: победительница конкурса имени Шопена в Варшаве, давшая советской музыкальной культуре не меньше, чем Оборин, Флиер, Ги-лельс и Зак, Белла Давидович должна была поехать в Киров работать концертмейстером местной эстрады. Отныне Белла Давидович должна играть под выступление дрессированных собачек, под глотание шпаг и т. д. Никаких Шопенов, Рахманиновых и им подобных. Таково окончательное решение на нашем славном (у нас все только славное и родное) государственном уровне.

И не с неба же оно свалилось? Кто-то это придумал. Какая глубина мысли и взлет фантазии! Мы не «гитлеры» и не собираемся убивать среди бела дня. Сегодня это не соответствует интересам международного рабочего движения и борьбы за мир. Но убить духовно и творчески можно и даже нужно. А дальше — посмотрим. Ведь товарищ Сталин постоянно учит нас работать с кадрами. Спасло Беллу Давидович внезапное приглашение на концерт в польское посольство.

У профессора Ямпольского в те годы одним из лучших учеников считался Ростик Дубинский — блестящий виртуоз. Совершенно неожиданно для всех он создал квартет, ставший самым известным. Квартет Бородина. В первом его составе на альте играл Баршай. Но на ответственном государственном уровне было решено направить Ростислава Дубинского в Ашхабад греться на солнце и играть в кишлаках Средней Азии сонаты Баха для скрипки соло. Там его срочно ждут. А как же любимый публикой квартет, душой которого был Ростислав? Ответили официально: с квартетом все в порядке. Его не ликвидируют. На место первой скрипки сядет другой скрипач, и никаких проблем. В так называемом свободном мире каждый дурак может выступить со своим предложением и лезть с ним во все дыры. В Советском Союзе все делается без дураков. Никакой отсебятины и произвола. Все осуществляется официально, государственно, только в интересах народа, его родной партии, в интересах борьбы за мир и светлое будущее.

### **«СВЕТ НАУКИ», ИЛИ ПЫТКА**

Если вы живете в большом городе и являетесь инженером, преподавателем или другим работником интеллектуального труда, то у вас должно быть *общественное лицо*. И только лицо. Ничто другое его заменить не может. А оно зависит от степени вашего участия в общегосударственном спектакле.

В послевоенные годы, пока Батя не испустил дух, такая ситуация приводила к

человеческим трагедиям. Не в лагере, нет. На свободе. При почете, уважении и отличном питании.

Все представление началось с первых дней советской власти, когда каждый шаг сопровождался пропагандой. Мы ей верили, в большей или меньшей мере. Но она не вторгалась физически в нашу жизнь. Нам было положено кричать «ура». Мы с этим отлично справлялись.

Я думаю, что все кардинально изменилось с того осеннего дня 1938 года, когда мы, москвичи, бегом устремились в очередь. В том числе я, мои друзья и знакомые.

Это не была типично советская очередь, в которой, запыхавшись, вы встаете за кем-то. А потом, успокоившись, увидя за собой пять-шесть человек, спрашиваете впереди стоящего: «Что дают?» Здесь вы знали, что дают: «Краткий курс истории ВКП(б)», впервые изданный в СССР. Тяжелейшее бремя навалилось тогда на студенчество. Называлось оно «Основы марксизма-ленинизма». Вы влюблены в науку, музыку, медицину, готовы посвятить им всего себя. Спокойно... Вам очень «убедительно» разъяснят, что «Основы» и только «Основы» являются началом жизни, наук и искусств. Именно перед войной была создана система давления на вашу психику и самого жестокого выкачивания вашей духовной энергии. Вспоминая об этом, я содрогаюсь по сей день. Вы высовывали язык, как задыхающийся пес. Больше половины учебного времени отнимала эта галиматья. Увильнуть было невозможно. Еженедельно вы посещали семинар и представляли свои конспекты по первоисточникам. Вместо занятий любимой музыкой молодые музыканты часами убивали время, записывая безразличное, чуждое, противное. Настоящий ужас, длящийся без конца. *«Шаг вперед, два шага назад»*. Вы не спрашивали: *«Что делать?»* Вы понимали (какая наивность!), что это не вечно. Ради диплома, во имя самого дорогого — музыки — нужно терпеть. Пройдут госэкзамены, и вы избавитесь от невыносимого балласта жестокости, отравляющей студенческие годы. Так было перед войной.

После войны началось «мирное строительство», ставшее пыткой, трагедией для тех, кто уже обзавелся дипломом.

Дорогие трудящиеся стран народных демократий!!! Вы беситесь с жиру! Вы не цените своих вождей. Ведь они ночью спят, как нормальные люди. Наш «Всевышний» по ночам не спал. Он бодрствовал. А поскольку у нас народ и партия едины, то вместе с ним бодрствовали все ответственные, полуответственные и безответственные товарищи. Ночью спал только животный мир, школьники, учителя и подобные им низы. Рабочий день остался ненормированным еще со времени войны. Соблюдались только воскресные и праздничные дни. Люди возвращались с работы далеко за полночь. Мне известны случаи, когда ответственный товарищ спал тут же, в кабинете. У телефона сидел секретарь. На звонок свыше он отвечал: «Минутку, он вышел по нужде». Такое было дозволено. Затем будил его. И только когда Батя испустил дух, рабочий день стал заканчиваться в 18 часов.

В те времена все важные совещания в верхах, как правило, проводились между двумя и четырьмя часами ночи. Это придавало им весомость, тревожность, дух борьбы. Известно, что в семье братских народов Украина всегда выделялась оперативностью. Директором Киевской консерватории был А. И. Климов. Его сменил А. Я. Штогаренко (два сапога пара). Одно из самых радикальных совещаний по кадрам у Климова началось в три часа ночи. Очевидно, по указанию горкома. Надо полагать, что подобное бывало и в других местах. Поэтому жалобы киевских евреев, что их среди бела дня гнали с работы, — наглая ложь. Днем никого не гнали. Все решалось глубокой ночью.

Работа по ночам, то есть параллельно с Батей, была обычным делом. Но так как нами руководил «корифей наук», «гениальнейший из ученых», то светом науки полагалось озарить и нас. Этому придавалось столь серьезное значение, что слова «кружок по изучению» звучали как примитив. «Кружок» был уделом уборщиц, которые тоже в обязательном порядке озарялись светом науки. А для нас, дипломированных (дураков), был создан вечерний университет марксизма-ленинизма, охвативший всю страну. За учебу каждый платил по сто пятьдесят целковых в месяц. По тем временам более десяти процентов среднемесячной зарплаты.

В Донецке такой университет работал по понедельникам и четвергам с 20<sup>00</sup> до 23<sup>45</sup>. При Сталине большинство так «рано», то есть в 20<sup>00</sup>, не освобождалось. Но на «святое» дело отпускали с почетом. Многие радовались возможности прийти домой раньше обычного, то есть в двенадцать часов ночи.

«Молебен» проходил в одном из зданий политехнического института в студенческом городке. А по вторникам и пятницам на столе у парторга уже лежали сведения о вашем прилежании.

Представьте себе следующую сцену. В 20<sup>00</sup> начинается педсовет. Одна из ваших учениц преждевременно кому-то отдалась — одно из главных событий в повестке дня. И пошло: «Как вы могли допустить?», «Куда вы смотрели?», «Это результат отсутствия воспитательной работы», «Нужны ли нашей стране педагоги, знающие только бемоли и диезы?» Один за другим меняются ораторы, перед глазами черно. Вы еще не знаете, чем все для вас закончится. Наконец поздно ночью педсовет завершает свою работу. Усталый, душевно разбитый, едва волоча ноги, вы приходите домой. Только бы лечь, уснуть и забыться. Но нет. На столе — книга Ленина *«Материализм и эмпириокритицизм»*. На завтра вы должны представить конспект одной из глав. Отсутствие у вас такового будет сразу известно парторгу. И тогда станет предельно ясно, откуда все идет и почему такое могло случиться. Наличие конспекта может смягчить ситуацию. Самоподготовка и особенно конспектирование — главный бич вашей жизни. *Пропаганда вторглась в ваш дом*. Отняла отдых, исковеркала быт. Особенно тяжело было пожилым людям. Вспоминаю прекрасного человека В. А. Шульмана. Еще до революции он считался одним из лучших инженеров Донбасса. Работал он четко, старательно и любое дело доводил до конца. А конспекты и изучение этого бреда шли за счет сна. Болезнь не заставила себя ждать. Пульс его угрожающе падал. Человека едва спасли. Потом его жена и дочь вымолили для него освобождение от занятий. А его коллега, друг студенческих лет, умер, не выдержав такого напряжения. Напор самой «передовой науки» в сочетании с изнуряющим, так называемым самоотверженным трудом противопоказан людям в возрасте или со слабым здоровьем.

Среди интеллигенции почти каждый знал тех, для кого это «просвещение» стало началом роковых заболеваний. Для студента оно открывало путь к диплому, и хотя неприятно, противно, но надо было стараться. Я не встречал никого, даже среди самых дисциплинированных или недалеких людей, кому было хоть как-то интересно. А каково пожилому человеку, отдающему себе отчет в полной бессмысленности, абсолютной бесполезности и омерзительности происходящего, сидеть по ночам, тратя свой отдых, духовную энергию и здоровье?

Лекции читались в зале с наклонным полом, где парты располагались на ступенях единым рядом, одна выше другой. Все отлично просматривалось. Идет лекция. Тишина. Вдруг слышен стук. Кто-то уснул и подбородком ударился о парту. Внезапный смех вносил какую-то разрядку. А проснувшийся смущенно, виновато оглядывался. Минут через пятнадцать все повторялось снова, только в другом ряду. Сказывалась невероятная усталость в сочетании с жестокой партийной скукой.

Приезжали молодые специалисты. С гордостью они показывали свою «пятерку» по «Основам марксизма-ленинизма». Но она их не спасала. Чтобы не «отстать», они были обязаны заново начинать эту карусель. Советский человек должен постоянно работать над собой и повышать идейно-политический уровень. Абсурдно и жестоко.

За два года своего марксистского просвещения я встречался и с тяжелым, и со смешным. Парторг одного из учреждений настолько вошел в роль, что постоянно говорил: «Как интересно изучать марксизм-ленинизм. Читаешь, и жизнь становится понятной. Все проясняется. Вчера до поздней ночи сидел, не мог оторваться». Находился он только в последнем ряду, всех видел и иногда указывал своим сослуживцам на недостаточность внимания. Однажды лектор оборвал речь буквально на полуслове. Все обернулись. Мы увидели парторга с широко открытым ртом, в который могла влететь ворона. Полные страха глаза были выпучены. Ему помогли спуститься к выходу.

Оказывается, он зевнул так, что не смог закрыть рот. С перепугу решил, что умирает. В



следующий раз ему заметили: «Как можно при таком глубоком интересе так глубоко зевать?» После смерти Сталина все успокоились. Парторг сведений о нас не получал, и нашим просвещением перестали интересоваться. Казалось бы, хватит дурака валять. Но закончившим курс вручали диплом. Кто же от диплома откажется: может, он еще и понадобится? Так думали все, и никто не ушел.

Закончился университетский срок (два года). Жили мы в общей атмосфере невежества и примитивизма. Но когда к этому добавлялось барское превосходство начальства, его поучения {ведь никто не посмеет возразить!}, становилось совсем невыносимо. К примеру, Никитушка [Хрущев] на художественной выставке сказал, указывая на портрет женщины: «Кто с такой бабой спать ляжет?»

Меня тошнило от появления начальства перед музыкантами. Прошло много лет, но даже сегодня противно вспомнить речь еще не примкнувшего товарища Шепилова перед выдающимися музыкантами страны. А затем его портрет и текст речи на всю полосу в журнале «Советская музыка». Такого бывает удостоен великий музыкант в юбилейный день. То, что Шепилов говорил, — сплошное убожество, интеллектуальное невежество и наглость. Да, наглость. А ведь в хрущевском Политбюро он слыл самым интеллигентным.

Стоит на трибуне партийный босс и вещает перед великими музыкантами. В зале сидят Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Ойстрах, Гольденвейзер, Нейгауз, Гилельс, Гинзбург, Флиер... да разве всех перечислишь! И он им поучительно цитирует слова Ленина об «Аппассионате» Бетховена. Набор районных пропагандистов. Типичная психология современного рабовладельца. Произносится сверху — все должны слушать и глотать. Появляется цитата — обрушивается на головы всех: от доярки до академика. А позже на первых страницах центральных газет и журналов появилось фото: Хрущев, Пахмутова, Микоян. Прошу любить и жаловать. Лицо советской музыки.

Какое счастье, что наш родной выразительный, сочный русский язык дает возможность четко и ясно выразить чувства, пробуждаемые величиим такого фото: «*Верной дорогой идете, товарищи!*» Само собой разумеется, что верной. Все всегда было правильно, поучительно и мудро.

Вспоминаю, как всех обрадовал зять Хрущева Аджубей, рассказывая подробности проявления нашим дорогим Никитой Сергеевичем своих антипатий к империалистам. Находясь в зале ООН, Никитушка снял ботинки и стучал ими над головой чилийского делегата. Какая элегантность! Я уже представлял сцену: в зал заседания ООН входят советские дипломаты в носках, держа в руках свои башмаки.

После разгрома так называемой антипартийной группы снова началось «просвещение». Хрущев заговорил и, казалось, не остановится никогда. Его остановили.

Если речи Сталина *изучались*, то речи Хрущева и Брежнева *прорабатывались* (их надо было только прочесть и обсудить на работе). Собирались уже раз в две недели на два часа. Терпимо, хотя и раздражало. Однако дома мы были хозяевами своего времени. Ветераны «просвещения», прошедшие вечерний университет марксизма-ленинизма, ценили это больше других. Как правило, все политзанятия давали обратный эффект. Руководители и подчиненные знали это тогда и знают сейчас.

Каждый приходил, думая не о том, что сказал «наш Никита Сергеевич» или «дорогой Леонид Ильич», а о том, где раздобыть мясо, лекарство или кофточку. Многие при мысли об очередях не скрывали своей злости на то, что теряют здесь время. К слову, о лекарствах. Моя жена — врач. Она подписала документ, обязывающий ее не предписывать больным дефицитные лекарства. Во-первых, не нужно болеть, а во-вторых, потребности трудящихся в аспирине и валерьянке государство покрывает полностью, и от этого еще никто не умер.

При Брежневе непрерывно нарастал гром пропаганды, переходящий в нервный зуд. Жили, как на вокзале. «*Навстречу юбилею*», «*В подарок съезду*», «*Слава КПСС*», «*Выполним*», «*Встретим*», «*Дадим*», «*Свобода, равенство, братство*», «*Встречный план*», «*Дополнительное обязательство*». И так весь день.

Наконец я дома. Тишина... Спокойно пью чай с вареньем. Играю с детьми. Сажу за фортепиано. Слушаю пластинки. Читаю. Говорю с друзьями по телефону. Я вышел из дома...

И снова везде и всюду: «Навстречу юбилею», «В подарок съезду», «Слава КПСС», «Выполним, встретим, дадим». Давай, давай, давай... И так бесконечно. Нет пауз. Нет спасения. Как надоело!

И вот я на Западе. Словно вырвался из сумасшедшего дома. Никто не подгоняет. Никто не дергает. Люди работают без обязательств, без хамства. Даже благожелательно. Все вокруг спокойно. Приходится привыкать.

Всю жизнь чувствуя себя правильным, государственно безгрешным, я шел на все эти собрания и педсоветы с мыслью: пронесет или не пронесет? Никто не был гарантирован от сюрпризов. С каким приятным чувством я уходил, если меня не трогали.

Теперь этого приятного чувства у меня нет. В Германии его отняли. Здесь эти так называемые конференции проходят два раза в год. В ресторане или в зале, где уже сервирован стол с холодными закусками, пивом, соками и кофе. Никаких разносов, никакой критики. Естественно, все приезжают на своих машинах. Кому рассказать? Кто поверит? Первое время я приводил семью, чтобы посмотрели на это «разложение».

Сейчас в России гласность и перестройка. Но, прожив в Советском Союзе почти шестьдесят лет, не представляю себе кардинальных изменений, пока господствует страшное чудовище, пожирающее все проявления жизни, индивидуальность человека, его ум, энергию и душу: «Наступательная марксистско-ленинская идеология».

### СТРАХ

После войны нами завладели совершенно разные чувства. С одной стороны, мы вкушали радость . победы, заслуженно ликовали, что иногда мешало многое понять. Мы забыли трагедию начала войны и считали, что Сталин действительно великий полководец. Откуда было нам знать правду? Ее знали только высшие чины и, возможно, боялись говорить о ней даже дома.

С другой стороны, все поглотил страх. Одна за другой следовали кампании травли ученых, литераторов, музыкантов, «космополитов», и обязательно с газетной вакханалией. Даже у того, кто всегда был спокоен, пропадала уверенность. Невольно думалось: кто следующий? В этом заключалось отличие от 1937 года. Тогда прошло несколько шумных процессов с высоким начальством. Остальных брали тихо. Ходили слухи: взяли того или другого. Внешне все выглядело спокойно. Теперь же массовых репрессий не было, но зато — шум, звон, психическая атака. Нагнетался страх.

Люди молчали. Боялись друг друга. Говорили только в семье. Но не менее ужасной была угроза перед нависшей над страной новой войной. Ужас этот был создан искусственно, как голод тридцатых годов, и внедрялся жестоко, планомерно.

Прошли десятилетия. Теперь мы понимаем, что большего абсурда, чем война на развалинах Европы в конце сороковых годов, с американскими поджигателями и немецкими реваншистами, трудно себе представить. Но народ, лишенный информации, оглушенный пропагандой, этому верил. Люди не решались ехать на курорт. В такси, поездах, парикмахерских говорили только об этом. Основной темой была война.

Вспоминаю лето 1950 года. Я в поезде Петрозаводск — Ленинград. По радио передают последние известия: «Передовики производства... сельского хозяйства...» и т. д. Никто не слушает. Начались сообщения о международной жизни. Многие занервничали. Раздались голоса: «Может быть, поворачивать оглобли?» Подобное встречалось часто.

С болью в сердце смотрели мы на своих детей. Жизнь была отравлена. Мы существовали. Где там спрашивать, почему нет мебели, меда, женских трико, классиков русской литературы, майонеза, белья и всего остального? Лишь бы войны не было. Ходил такой анекдот. Заходит человек в магазин и спрашивает: «У вас колбаса есть?» Ему отвечают: «У нас нет мяса и рыбы, а колбасы и масла нет напротив. Идите туда». Само собой разумеется, что виноваты проклятые поджигатели новой войны, но почему у них есть все, а у нас — ничего? Если подавляющее большинство средств идет на подготовку к новой войне, почему у них все, а у нас — ничего? Такого вопроса мы себе не задавали. Мы знали: у них хуже, чем у нас. Сколько пережито, сколько испито мук и страданий! Фотографии дорогих и близких, погибших на фронте, перед нами.

Под руководством товарища Сталина идет отчаянная борьба за мир. Наш народ хотел, чтобы спокойствие царило во всей Корее. Помешали. Мы хотели дать мир и счастье жителям иранского Азербайджана. Установили там народное правительство во главе с товарищем Пишевари. Произошло то же, что с народным правительством Финляндии под руководством товарища Куусинена. Сорвали антинародные силы. Наша печать взывает к бдительности. Но газетный шум — это барабан. Нужна музыка. И слово свое сказала верная помощница партии — советская литература. Вышли актуальные произведения: «Поджигатели», а затем «Заговорщики» Николая Шпанова. По формату они превосходили обычные книги. Шутка ли, более тысячи страниц. Поражала скорость их появления. Очевидно, автор писал их модным тогда квадратно-гнездовым способом. Они мгновенно раскупались. Несмотря на массовый тираж, достать их было трудно: читали взахлеб, передавая из рук в руки. Шпанов писал о поджигателях войны во главе с президентом США Гарри Трумэном. В книге он был выведен под именем Тримен. Действительно, может ли быть большая угроза миру, чем американские поджигатели войны и их пособники?

Книги Шпанова были мощным идеологическим оружием. Но как оружие они больше подходили для рукопашного боя. Ежели такой книжищей трахнуть по башке...

Потом вышла «Югославская трагедия» Ореста Мальцева. Она разоблачала фашистскую банду Тито. Тито был отважным человеком. Когда его штаб оказался в окружении и немцы сжимали кольцо, за Тито был послан самолет. Но он вылетел последним рейсом, когда уже все были спасены. В книге он изображается жалким трусом, вздрагивающим при выстреле. Это очередное «правдиво-историческое» произведение советской литературы было удостоено Сталинской премии.

Через некоторое время, уже после смерти Сталина, Тито с почетом встречали в Москве.

Как бы то ни было, имена Николая Шпанова и Ореста Мальцева, а заодно с ними драматурга Анатолия Сурова исчезли. Предполагаю, вспоминая Ильфа и Петрова, что эти люди не пошли в управдомы.

Со смертью Сталина пропал ужас перед террором. Люди перестали бояться друг друга. Но остался страх войны. Его поддерживали и раздували. Он был важной частью внутренней политики. Он снимал ответственность за все. Он был необходим. Вовлекать сюда печать нежелательно с международных позиций. И выход был найден. В учебных заведениях, учреждениях и т.д. ввели изучение гражданской обороны, сокращенно ГО. Мы были обязаны являться, выслушивать и изучать бред ада. Волосы становились дыбом. Мурашки бегали по спине. Широко раскрытыми глазами мы молча смотрели друг на друга. А потом говорили: «Пусть ничего не будет. Ничего не надо. Только чтоб без войны». Если на политзанятиях ворчали: «Вместо того, чтобы стоять в очереди, мы здесь теряем время», то на ГО такого не было. И наконец переплюнули товарища Сталина. При нем студентам полагалась отсрочка от военной службы, теперь ее отменили. Закончил школу — иди служить. Если ты чуть помоложе, пойдешь уже как студент. Но строго по возрасту. Никаких отсрочек! Что поделаешь? Пентагон, агрессивные круги США...

При мне еще существовала доктрина Хольштейна. В Германии я убедился, что она действительно есть, — но не в ФРГ, а у пропагандистов Советского Союза. Нам долбили, что планы современных немецких генералов — дойти до Урала. Собачий бред. В свободном мире даже не учат ГО. В отношении ФРГ это абсолютно точно. В результате появился парадокс. Страна-кит — СССР и страна-сардинка — Израиль. На протяжении одного поколения в Израиле было три войны. Три миллиона человек в окружении ста миллионов, стремящихся их уничтожить. Часто рвутся бомбы, проникают террористы. Школы охраняются автоматчиками, ибо детей уже брали в заложники. При входе в театр каждого обыскивают. В Израиле не изучают ГО. По выходным дням солдаты возвращаются домой. Люди живут спокойно, без всякого страха. Израильтяне законно гордятся этим.

Вокруг Советского Союза — страны, проглоченные и ждущие своей очереди. И нервничающие Китай и Япония. А люди в СССР живут, как в осажденной крепости, в постоянном страхе. Он нужен как оправдание «счастливой жизни». Чем страшнее, тем «счастливее».

## ОТЪЕЗД. ПОГРАНИЧНАЯ СТАНЦИЯ ЧОП

Решение об эмиграции вынашивалось и утверждалось во мне долго. Но с того дня, когда мой тринадцатилетний сын сказал: «Папа, без тебя я тут умру с голоду», оно стало бесповоротным. Не менее убедительным было все остальное, но последней каплей были его слова. Я твердо знал, что меня с большим или меньшим треском выгонят с работы. Частные ученики сбегут. Знакомые отвернутся. Но ответ ОВИРа, возможные сложности, неприятности, а главное — продолжительность такой ситуации — оставались загадкой. Это отравляло жизнь. Иногда делалось страшно. Благодаря телевидению и афишам меня в городе знали. Чтобы хоть немного приглушить шум, я ожидал летних каникул. Все равно получился взрыв бомбы. На улицах перестали попадаться знакомые. Умолк телефон. Даже самые близкие родственники не пригласили на день рождения.

Меня ничто не удивляло. Я ждал подобного. Перед началом учебного года прихожу в училище расписаться. Увидев меня, коллеги умолкли и расступились. Глаза их полны удивления и сочувствия. Ответили на мое приветствие, но больше ни слова... Я расписался и сразу ушел. Через несколько дней мне позвонили и сообщили, что я буду работать аккомпаниатором в классе домры с окладом шестьдесят рублей в месяц. Меня не выгнали, я не тунеядец. Уже хорошо.

В училище были стенды с фотографиями членов Политбюро и ветеранов Великой Отечественной войны.

В один день исчезли «железный Шурик» (то есть Шелепин, секретарь комсомола и начальник КГБ, — его как раз тогда сняли с должности) и я.

Уходило лето 1975 года. Наш сосед по двору, уголовник Васька только вышел из тюрьмы и сказал, что прирежет моего сына за наше желание уехать в Израиль. Он был человеком слова. И мой сын, задержавшись где-нибудь, шел на ночь к бабушке. Мы жили тревожно, однообразно, в тесном контакте с тещей. Иногда при мысли: «А вдруг откажут?» во мне все обрывалось. Однажды, перебирая документы, я увидел свое торжественное фото и нескромно подумал о себе: «Теперь я на дне». Все ушло. Возврата (слава Богу!) нет. Ведь исходя из морали родной партии, мой поступок хуже участия в групповом изнасиловании. Там могут быть найдены смягчающие обстоятельства. В моем случае их нет. Налицо явная измена. Иногда большое преступление оставляет за собой эхо. После моего оно долго отдавалось по Донецку. Вслед за этим в училище состоялось важное собрание с участием секретаря по идеологии. Он обратился к залу: «Товарищи! Я не вижу здесь Бродского. Послезавтра он выступает с докладом на тему "Музыка в жизни Лени..."». Громовой смех оборвал его слова. Явная ошибка. Конфуз. Партия учила быть всегда с народом, знать его нужды, постоянно и много работать с людьми, будь они на службе, на отдыхе, под следствием или в лагере. Нужно знать свои кадры. А здесь пример отрыва от масс: весь город гудел, а он ничего не ведал.

Сенсация отшумела, мое положение становилось привычным. Русские люди останавливали меня, спрашивали, просили писать им. А некоторые говорили: «Молодцом. Давно бы так. Глотнете свежего воздуха». Следует заметить, что о качестве воздуха говорили не защитники окружающей среды, а два члена КПСС. Через шесть месяцев раздался звонок из ОВИРа. Мне сказали: «У вас положительно». И даже поздравили. Боже! С каким волнением и тревогой я ждал! Других мыслей не было. Начались сборы. Поездки в Киев, Москву и наконец во Львов с пересадкой на Чоп.

Чоп — небольшая пограничная станция. Рядом — нормализованная сестрица Чехословакия при образцово-показательной дисциплине. Бежать из Союза сюда все равно, что из Чернигова в Конотоп. А какая вокруг бдительность! Отъезжавший ночью поезд ярко освещался, а солдаты смотрели под вагоны. В кафе-закусочной возле станции весь персонал начеку. И так во всем.

Мы узнали, что в зал ожидания на таможенный досмотр пускают за сорок пять минут до отхода поезда. Оглядываемся. Кроме нас еще четыре семьи. У каждой от десяти до двадцати мест. Все нервничают. Успеют ли просмотреть? Появились носильщики. Среди них венгры, почти не говорящие по-русски. Тариф их услуг — из мира фантастики. Но переезжать

границу с деньгами нельзя, и этот вопрос никого не волновал. В зале досмотра стало ясно, что они входят в общий ансамбль государственных стражей. Наконец пропустили. Справа у стены в длинном ряду столы с ящиками. Они открывались не стандартно, а в зависимости от размера «попадающего» туда предмета.

Вышел начальник. Широкие скулы, лицо неподкупное, привычное, почти знакомое. Тип чекиста из кино. Ну прямо с экрана сошел положительный герой — «наш современник». Правда, на экране он выше и стройнее, у этого рост неказистый. Он объяснил порядок, и наши славные пограничники принялись за дело. У них была одна цель — тащить. Что официально, а что импровизированно. Оказавшись в вагоне, мы не досчитались чемодана. Ехать стало легче. А прибыв на место, мы обнаружили отсутствие нового свитера сына и т. д., всего одиннадцать предметов. Довески к чемодану.

В компании с нами ехал молодой одессит с семьей. Еще до досмотра к нему подошел суровый «неподкупный» (как я считал) начальник и сказал: «Хочешь, чтобы пошло быстрее, скажи дяде, пусть даст сто рублей». Естественно, он их получил. Но уже в поезде обнаружилось, что в придачу к деньгам исчез и чемодан. А что пропало из чемоданов, всем предстояло узнать на месте. Главное, чекист знал, что его провожал дядя. Как и куда девались чемоданы, я не знаю. А из чемоданов исчезало так; вы ставили его на стол и раскрывали. Таможенники перебирают вещи. Неожиданно вас подзывает начальник, чтобы что-то сказать или спросить. Убежден, что по условному знаку. В мгновение ока «все в порядке». В сторону ставят закрытый чемодан.

Скорее, скорее следующий. Все на нервах. Время не ждет. Торопитесь вы, торопят вас. Некоторые чемоданы вы закрываете сами, в зависимости от содержимого. Уравниловки нет. Ваши вещи разбросаны тут же, на столе. Надо их быстро уложить и перейти к следующему. Его уже досматривают.

В одном из моих чемоданов были кофейный набор (поднос, кофейник, сахарница, молочник) и красивая китайская коробочка для ювелирных украшений. Мне решительно сказали, что такое перевозить нельзя, и унесли. Наличие добра разжигает вора, мародера, делает его еще более жадным. Ему не терпится узнать, что он схватил. О, разочарование! И он сообщает начальнику. Тот громко говорит: «Бродский», — и, указывая на предметы: «Заберите». Я охотно забираю. И, несмотря на нервность своего состояния, понимаю причину такого решения. Отдаю укладывать жене. Она тоже поняла и улыбнулась. Все просто: кофейный набор был подарком моих выпускников. На его металле была выгравирована надпись. Такое не сотрешь. А китайская коробочка... На заключительное оформление документов мы поехали в Москву всей семьей, чтобы заодно попрощаться с близкими. Этим воспользовались *бойцы невидимого фронта* и посетили нашу квартиру. Предвидя это, я все вещи отнес в чемоданах к соседям. На столе осталась китайская коробочка.

Они открыли ее, ничего не нашли. Расковыряли внутренний шелк. Опять разочарование. Все испортив, ночные посетители оставили ее. Их коллеги на границе начали с того же. В итоге за ненужностью вещицы возвратились к владельцу.

Запомнился специалист по ювелирным делам с полуинтеллигентным лицом в звании майора. Он в свое бдительное око вставлял «одно очко» и, прижимая его, как граф — монокль, разоблачал происки врагов. При мне он никого и ничего не разоблачил. Но контраст был интересен. Всякую дребедень он хватал быстро, яростно, как кот — мышь... Смотрел и, мгновенно став безразличным, тут же разочарованно ее возвращал.

Внезапно загрохотал прибывший поезд. Стало совсем нервно. Часть чемоданов еще на столах, под бдительным оком, в «умелых» руках.

Пятьдесят семь лет я прожил при советской власти. Среди прочих «прелестей» были слова, ежедневно и назойливо вдалбливающиеся в голову. Одно из них — основное слово чекистов: *бдительность* — завершило мою жизнь в СССР. Это большое партийно-чекистское слово утвердилось в 1937 году и постоянно сопровождало пас. А в начале пятидесятых предполагалась новая массовая чистка. После «разоблачения» врачей-отравителей появились слова «ротозей» и «ротозейство». Но Батя испустил дух (помню, диктор сказал: «Не было еще

такого горя на земле»), и они не успели утвердиться. Вместе с «прославленной», награжденной Лидией Тимашук (она дала толчок делу врачей-евреев, которые якобы «отравляли людей») они канули в лету. А зря. Такое забывать нельзя. Это один из кошмаров истории, случайно оборвавшийся в самом начале. И если в Советском Союзе он попал в сферу партийного склероза, то наш долг — помнить!

Прошу прощения. Я отвлекся, а посадка уже началась. Женщины бросились к столам закрывать чемоданы и ставить к выходу один за другим. А затем чемоданы, попав в руки мужчин, мгновенно образовавших цепочку, четко и бесперебойно летели в проход вагона. Своих не было: все — наши, общие. Поезд тронулся около 23<sup>00</sup>. Чемоданы были навалены до потолка, стоять негде. Некоторые открылись, и из них вываливалось то одно, то другое. Казалось, не разберемся до утра. Мы взялись за дело. Мой сын быстро вскарабкался наверх закрывать чемоданы и «с высоты своего положения» спускал те или иные нижестоящим. Примерно к двум часам чемоданы снова стали «наши» и «ваши». Все это время женщины находились в соседнем вагоне. Кульминацией пройденной нервозности было время посадки, а для славных пограничников — изъятие «лишнего» груза у меня и у других, чем и завершилась их программа. Вся эта сумасшедшая карусель, исчезновение чемоданов и прочее, стали заключительным свидетельством преимущества социализма.

Он появился и, утвердившись, стабилизировался, как постоянные бесхозяйственность, нужда и дефицит, что превратило его в сплошное воровство. Тянули абсолютно все: от мелкого сторожа до семьи Брежнева. И нужен скандал, чтобы выяснить, как главари коммунизма строят для народа социализм, а для себя — что-то другое. Мы этого не можем знать, пока кричим в их честь «ура!!!»

Всю свою жизнь в дни демонстраций я в любую погоду по 6-8 часов (а в Москве еще больше) топтался на улице ради того, чтобы, проходя мимо трибуны, приветствовать людей низкого уровня культуры, а порой хамов, жлобов и, как обнаружилось потом, самых откровенных жуликов. Любый трудящийся, чем бестолково болтаться на улице, предпочтет провести свободный день в семье или в кругу друзей. Но этот массовый предельно утомительный спектакль продолжается без всяких изменений по сей день. Он торжественно отмечается в печати. Воровство централизованное и запланированное на бумагу не ложится. Оно заполняет умы и повседневную жизнь людей. Так и здесь, на станции Чоп. Все — суровый чекист, ювелир в мундире, младшие офицеры, сержанты и даже носильщики — *все были в едином строю*. И если строгий майор подошел к одесситу и потребовал сто рублей, то только потому, что он привык получать что-то сверх официального, должностного (по иерархии делимого) наворованного. Обычный случай использования вышестоящим своего положения... Вышестоящие в Советском Союзе всегда беспардонны.

Продолжу о социализме.

Заключительная печать на выездную визу ставится в посольствах Голландии и Австрии. При маршруте через Брест нужна печать польского посольства. Стоп... Там все оформляет социалистическая дама. Нужно дать на лапу десять рублей, и все будет гладко. Никто не удивляется, все воспринимается, как должное. Таков путь к прогрессу. Идя этим путем, наши славные пограничники становились «евангелистами», людьми, убежденными, что все мы — дети одного Бога и должны, как братья, помогать друг другу. Кто мне не верит, пусть зайдет в Иерусалиме в ресторан «Грузия» и посмотрит на посуду, вывезенную из СССР. Подобных примеров много. Я знаю людей, приехавших с целым состоянием.

Когда мы увидели, что над посадкой в поезд нависла беда, то в мгновение ока превратились в одну дружную семью. Мы работали как слаженный коллектив.

Полукомедийный эпизод: в одной из семей была старуха лет девяноста, в полном маразме. Она не хотела садиться в вагон и упрямо тянулась назад. Когда ее установили на ступеньке вагона, то я подставил плечо под ее тазобедренную кость. Сопротивление было сломлено. Ее тут же заперли в купе. Хотя мы были раздражены и злы, человек оказался важнее чемоданов. Уже в Братиславе ее дочь, пожилая женщина, слезно благодарила каждого из нас. Мы не представляли, как могло быть иначе. Иногда в трудные минуты в людях проявляется добро. Пусть оно всегда будет с нами!

P.S. Еще раз о бдительности. В конце сентября 1988 года в Гамбург пришел американский авианосец «Нассау». Ежедневно с 12<sup>30</sup> впускали посетителей. Желающих было много. Приходилось ждать минут пятнадцать-двадцать. Под палубой, в огромном, напоминающем цех завода, помещении демонстрировалась разная военная техника. Там, где находились пистолеты, автоматы, пулеметы, преобладала детвора. Инструкторы им что-то объясняли, и слышалось шелканье затворов. Налицо явное сотрудничество немецких реваншистов и американских поджигателей войны. На палубе стояли для обозрения два военных вертолета и морской истребитель. Одни посетители входили внутрь, другие фотографировались на этом фоне. Очень приятной была прогулка по палубе. Все равно что по футбольному полю на высоте многоэтажного дома. Погода была солнечная, и не хотелось уходить. Я повторял: «Вот они, Пентагон, агрессивные круги США».

Для входа в Московскую Государственную орден Ленина консерваторию имени Чайковского нужен специальный пропуск. Во времена Никитушки (убежден, что после него стало еще бдительней) в зале Донецкой филармонии устанавливали орган. И я два месяца находился в Москве для ознакомления с навыками органной игры. В Московскую консерваторию меня, выросшего там, не пустили. Я получил пропуск, и он еженедельно продлевался. Здесь этому никто не хочет верить. Думают, шутка. В первые месяцы моего пребывания в Германии я регулярно ходил заниматься в Гамбургскую консерваторию. Меня ни разу не спросили, кто я и зачем иду. К слову, так было в довоенные годы в Москве. Сравнивая посещения американского авианосца «Нассау» и Московской Государственной орден Ленина консерватории имени Чайковского, так и хочется сказать: *"Социалистический идиотизм"*.

### **БУСЯ ГОЛЬДШТЕЙН. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ**

Когда я работал над моими воспоминаниями, медленно и мучительно умирал Буся Гольдштейн. Скрипичная легенда моего поколения. В Германии о нем издана книга. Хочется думать, что она появится и на его родине. Большой скрипач, конкурент Буси Леонид Коган часто повторял: «Его звук патологически действует на слушателя». Как правило, конкуренты не говорят благожелательно друг о друге. Если учесть, от кого исходили эти слова, то большей похвалы не придумать. Действительно, после великого Хейфеца ни у кого так не звучала скрипка, как у Буси Гольдштейна.

Уже здесь, в Германии, я был свидетелем, как в церкви после исполнения скрипичных сонат Баха выдающийся профессор скрипки Рами Шевелев поцеловал ему руку. Рами Шевелев, в прошлом один из лучших учеников Ивана Галамяна, начал карьеру в Америке как блистательный скрипач. Но после автомобильной катастрофы, пролежав около года в больнице, занимался только педагогической деятельностью. Я слышал, что Шевелев был самым молодым профессором скрипки в истории Джульярда. Как же нужно играть, чтобы такой эрудит скрипки целовал руку не даме, а мужчине! Знавшие Бусю всегда удивлялись его необыкновенной судьбе. Он был и принц, и нищий, всегда оставаясь большим тружеником. Все его существо, все помыслы были о скрипке. Даже своих сыновей он называл именами великих скрипачей. Старший — Мирон, младший — Яша. Имена Полякина и Хейфеца.

Хейфец умер буквально вслед за Бусей. Примерно за месяц до смерти Буся получил от него привет. Он рассказал мне об этом в нашем последнем разговоре по телефону. И закончил словами: «Извини, мне трудно говорить». Чувствовалось, что он задыхается. Ночью ему стало совсем плохо. Его отвезли в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался. На протяжении всей болезни Буся не выпускал скрипку из рук. Я часто вспоминал рассказ Флиера о том, как смертельно больной Ойстрах написал ему из больницы: «Я только теперь понял, как люблю скрипку». И добавил: «Понимаешь, не дирижерство, а скрипку». Этому трудно найти определение. В молодые годы Рихтер после концерта занимался в зале всю ночь, а Леонид Коган играл по 10-12 часов в день. Лазарь Берман только за упражнениями и этюдами сидел по четыре часа. Молодой Горовиц, приглашенный на обед (это было в Одессе), пока накрывали на стол, сидел за инструментом и учил этюд Листа. Таким был и Буся Гольдштейн. Если он не держал скрипку, то думал о ней.

В начале тридцатых годов стали появляться советские легковые машины. В продаже их еще не было, они приписывались к учреждениям или отдельным начальникам. И Буся Гольдштейн, а вернее его мама, получает в свое распоряжение легковую машину с шофером. Еще никто из музыкантов страны машины не имел. Бусе дают трехкомнатную квартиру в доме академиков и Героев Советского Союза. В те годы такое казалось невероятным. Педагоги приходят к нему на дом. Ежедневно у него бывает аккомпаниатор. Бусю бесконечно хвалят, ему льстят, перед ним заискивают. Высокие начальники оказывают ему покровительство. Первый заместитель Ягоды Агранов делает для Буси все, что может.

Получал ли больше какой-нибудь принц? А каково, если принц вдруг окажется в потоке жизни на равных с остальными? Так случилось с Бусей. После войны его особое положение, а заодно и многие привилегии исчезли. Но его это абсолютно не интересовало. У него была скрипка, и он занимался, сколько хотел. Остались концерты, прежний успех, поездки по стране и даже в Италию и Грецию. В те годы такие поездки были исключением.

До войны, когда вокруг конкурсов была пропагандистская шумиха, всех лауреатов приняли в партию. После войны ситуация изменилась, шумиха перешла на другое, другим стало и положение Буси. Он, как всегда, был постоянно поглощен скрипкой и забыл о партвзносах. Ему грозило исключение. На партсобрании долго говорили. Однако, когда началось голосование, подавляющее большинство голосов оказалось против. Бусю любили, и это его спасло. Он был прост, приветлив, жизнерадостен, остроумен. К сожалению, в нем не было практичности: он не мог вести деловые разговоры, не имел влиятельных друзей, не мог устраивать свои дела. Тогда некоторые из известных молодых скрипачей начали преподавательскую работу в вузах. А от Буси вуз был так же далек, как отделение ботаники при Академии Наук.

После войны в стране было два скрипача мирового класса, известных за рубежом, — Давид Ойстрах и уже не Буся, а Борис Гольдштейн. Перестал появляться на эстраде блестящий скрипач Борис Фишман, а Леонид Коган еще не утвердился. Успешно играл Самуил Фурер. Только Ойстрах и Гольдштейн давали симфонические вечера при аншлаге. Вспоминаю концерт Буси в Зале Чайковского. В программе Бах, Бетховен, Брамс. Полный зал. Играл блестяще. А после концерта Буси в Ленинграде там месяц о нем говорили.

Это было время строжайшей сталинской изоляции от мира. А значит, и особая настороженность при появлении знатного иностранца. В таких случаях подбор кадров проходил иногда «с изгибом».

Приезжает в Москву известный итальянский дирижер Вилли Ферреро. Его пригласили потому, что он был членом Всемирного Совета Мира. Надо не ударить в грязь лицом. Концерт Бетховена играет с ним Буся. Ферреро в восторге.

В порядке кадровой политики на второе исполнение этого Концерта назначают Баринову. Хорошая скрипачка, но зачем вслед за Гольдштейном? Между двумя исполнителями — промежуток в два дня. Невольно напрашивалось сравнение. Буся играл убежденно, законченно, на широком дыхании. У Бариновой все было подвижней, фраза шла за фразой. Бее в один голос говорили, что он — большой артист, имеющий что сказать, не боящийся медленных темпов — он в них как рыба в воде. Начальство же выдвигало Баринову. Оно поставило ее на одни весы с Гольдштейном, оказав ей тем самым медвежью услугу.

Но в верхах решили, что хватит с них Ойстраха. Гольдштейна же — низвести до уровня второго сорта, а еще лучше — до нуля. И пошло... Он продолжал играть, пусть реже, но снова успех и полный зал. Гольдштейн есть Гольдштейн. И «выход» был найден. В «Комсомольской правде» появляется гнусная клеветническая статья. В сталинские времена печать была основным средством уничтожения тех, кого не забирали. Разумеется, афиши с именем жертвы уже не появляются. Год Буся нигде не играл. Я находился в Донецке и не знаю, на что и как он жил. Но музыканты знали, что он не нарушал режима ежедневных многочасовых занятий. В его руках оставалась скрипка: смысл его жизни, его счастье.

Надо отдать должное деятелям от Министерства культуры. Они постоянно были в «творческом» поиске. Они понимали, что удар через газету действителен для тех, кто широко известен, как, например, Шостакович или Буся Гольдштейн. А как быть с теми, которые не



сегодня-завтра станут известными, если их фамилии не совпадают с правильным подбором кадров? У начальства могут возникнуть проблемы. Придумали... Просто и впечатляюще.

В начале семидесятых годов среди скрипачей молодого поколения выделялся Борис Белкин. При отборах на международные конкурсы он играл ярче всех. Его обходили: раз, другой. А однажды наконец-то «допустили». И когда он уже сидел в самолете, стюардесса объявила, что он должен выйти.

Такое «впечатляет» и даже может сломить. Правда, удовольствие дорогое — билет на самолет уже оплачен. А когда наша родная партия и родное правительство жалели средства на развитие культуры и искусства? «Авиационный прием» был на вооружении и применялся не только по отношению к Белкину.

Его появление дома вызвало шок. А он, как ни в чем не бывало, взял скрипку и стал заниматься. Когда мне рассказали об этом, я вспомнил Бусю. Как не заметить: «Моська лает на слона».

В хрущевско-брежневские годы сформировался новый тип музыкальной знаменитости — представители социалистического «сверхреализма». Для них люди делятся на «нужных» и «ненужных». Яша Флиер видел этих «нужных» друзей и поражался: «О чем с ними может говорить большой музыкант?» Важные чины министерства, милиции и т. д., а какой низкий уровень культуры. Интеллектуальные убожества.

Постепенно музыка, заполнявшая всю жизнь талантливого музыканта, стала прикрытием. Образовался новый тип артиста с «мундиром под фраком». Кто бы мог подумать? Страна чудес.

В такой ситуации Буся был инородным телом, и новые «многогранные» артисты смотрели на него сверху вниз.

После смерти А. Б. Гольденвейзера вышла книга его воспоминаний и отрывков из дневников. В одном из них он якобы пишет, что игра Буси его не волнует. Я убежден, что это — ретушь редактора (ведь Старика уже не было). Мне неоднократно приходилось слышать его мнение о Бусе. О том, что Буся как скрипач уже давно перешагнул свой возраст, и сегодня он — законченный артист.

В Советском Союзе стало традицией, когда за автора дописывали книгу редакторы. Доходило до смешного.

Например, известный ленинградский профессор С. И. Савшинский написал книгу о выдающемся педагоге Ленинградской консерватории, профессоре Николаеве. Принес в редакцию готовую работу. От него потребовали показать отношение Николаева к тому-то. Согласно конъюнктуре. Он переделал и снова принес. И так несколько раз. В результате мы находим у Николаева небрежные, чуждые ему высказывания. В том числе и о Шумане, в котором лучший николаевский ученик Софроницкий был сильнее всех. Никто этому не верил, все понимали ситуацию и знали, откуда растут ноги. В итоге, прочитав книгу, вы были убеждены, что профессор Николаев, услышавший залп «Авроры», только из-за простуды и высокой температуры не выходил из дому и не мог опоясаться пулеметными лентами, взять винтовку и вместе с матросами устремиться на штурм Зимнего. Все книги о музыке тогда причисывались по последней пропагандистской инструкции.

Гольденвейзером написана еще одна книга, оставшаяся неизданной. Он и слушать не хотел о каких-то там правках.

Продолжу о Бусе. Давление на него начало превращаться в удушье. Появлялись «новости», одна «лучше» другой. Становилось невыносимо трудно. «Политически грамотные» люди составили текст письма для самого высокого начальства. Увы, безрезультатно. Там даже посмеялись. Тогда его жена, Ирина Николаевна Добротина, походив по инстанциям, сказала: «Надо не уезжать, а бежать». И стала главным инициатором их эмиграции.

Буся выехал 1 августа 1974 года. А 31-го я позвонил ему с Рижского взморья, где проводил отпуск. Он был тронут моим вниманием и смелостью. Не все решались звонить абоненту, телефон которого прослушивается. Моя «храбрость» объяснялась тем, что через несколько месяцев я собирался «обрадовать» местные власти, также подав документы на выезд.

Буся с семьей прибыл в ФРГ. Его концерты в Германии и других странах Европы сделали

свое дело. Он стал одним из самых влиятельных и авторитетных музыкантов в ФРГ.

Эмиграция — тяжелый процесс. Она изменяет человека или проявляет те его качества, которые раньше никто не замечал. Бусе было труднее, чем другим. Он не такой, как все. Мало того, какие-то невидимые силы мешали ему. Он это чувствовал, понимал, хотя не знал, как противостоять им. Позже он писал мне в Израиль: «Этот мир имеет много прекрасного, но имеются моменты, к которым мы не привыкли и к которым не так легко привыкнуть. Эмигрантские трудности для нас начались в Вене. Три месяца мы жили в тяжелых условиях, где дети не вылезали из болезней. Мы сильно упали духом. Все, что было, описывать слишком трудно и долго».

Но и здесь, в эмиграции, Буся остался человеком большого сердца и доброй души. Кроме музыки, он думал только о том, как помочь другим. И буквально творил чудеса, в немалой мере благодаря своему музыкальному авторитету и влиянию. Приходили неизвестные люди с письмами от его знакомых. Он прослушивал и сразу знал, где о таком человеке стоит говорить. Ему были известны возрастные и музыкальные требования разных оркестров и учебных заведений всей Германии. Он звонил, а то и садился с просителем в машину, мчался иногда за несколько сот километров и, в конце концов, добивался своего. Многие, пока не устроились, жили у него. Пианистка Наталья Консистерум с сыном находилась у него пять месяцев; виолончелист Кривобородов с семьей (четыре человека) — более месяца; пианист Львов с женой — месяцами, точно не знаю. Это мои друзья, и я называю их имена. Всех не перечислишь. Скажу точнее: Бусин дом превратился в перевалочный пункт.

Чтобы не наскучить читателю, перейду к чудесам. Приезжает отличная пианистка Ева Эфрон, в прошлом одна из лучших учениц Игумнова. Тогда ей уже было шестьдесят. Здесь в таком возрасте не работают: закон есть закон. Но в виде исключения пенсионерам разрешается работать четырнадцать часов в неделю. Это примерно тысяча немецких марок — на одного человека достаточно. Буся позвонил, договорился и поехал с ней куда-то на швейцарскую границу, за 500 км от Ганновера. Коллеги встретили ее косыми взглядами: не всем местным такое удастся, а тут с неба свалилась иностранка и все получила...

Позже с Евой произошло так, как в легендах о музыкантах. Назначен концерт. Все собрались... Увы, заболел аккомпаниатор. Ева предложила свои услуги, прекрасно провела концерт с листа, играла сама. Все резко изменилось в ее пользу.

Рассказывать, кого устраивал и кому помогал Буся — дело долгое и во многом неизвестное. К примеру, приехал человек в Израиль и привез для меня от Буси крупную сумму денег. Хотя с моей стороны даже намек не было.

Итак, я, сначала один, без семьи, приехал в Германию. У Буси в это время шел урок. Молодой скрипач жил в 800 км от Ганновера. В таких случаях Буся ничего не отменял. На вокзал приехала его дочь Юлия.

Буся жил в красивом трехэтажном доме в лучшем районе Ганновера. Первый этаж занимал отель-пансион, а весь второй был за семьей Гольдштейна. Парадный вход представлял собой дворцовую лестницу с мраморными колоннами. В основных комнатах — деревянные стены и декорированные потолки. Всего их семь. Казалось, в квартире можно обучаться велосипедной езде. Четыре-пять человек могли работать, не мешая друг другу. Но увы. Было слышно на третьем этаже. Встал вопрос о своем доме. И вскоре был куплен дом с фруктовым садом. Буся с женой занимались и давали уроки. Одновременно занимались дети. Соседей не было. Никто никому не мешал.

У него было прекрасное положение — концертов было очень много. В Высшей музыкальной школе Вюрцбурга имелось свободное профессорское место. В течение года было прослушано сорок восемь скрипачей, претендовавших на него. По плану концертного турне Буся играл в этом городе. Ему предложили занять профессорское место. В западном мире есть свои «недостатки»: по общепринятой форме претендент, кем бы он ни был, обязан играть пробу. Буся рассказывал мне, что никогда так не волновался, как играя в качестве претендента.

К Бусе постоянно приезжали скрипачи из разных стран Европы и даже из Японии. Если перед ним был хороший скрипач, он как бы преображался, переставал замечать время, и уроки

проходили очень интересно. Занимаясь с одаренным скрипачом, Буся увлекался, становился весьма требовательным, напористым и даже резким. Все приезжие ученики останавливались в их доме. За столом всегда сидели гости. Трогало радушие, с которым он всех встречал. Радовался, как ребенок. Жена и дети разделяли эту радость. Все очень напоминало дом Яши Флиера.

Я прожил у Буси месяц, пока не начал работать. Еще до моего приезда он обо всем договорился. Мне оставалось только представиться и отыграть пробу.

Наговорились мы досыта. Он жаловался, что концертный режим становится для него непосильной физической нагрузкой. Думал, что сказывается возраст. А это уже было начало его роковой болезни. Меня тогда удивляло, что после концерта он удовлетворенно говорил: «Я два часа простоял на эстраде, и со мной ничего». Независимо от игры, нельзя называть исполнителем того, кто до концерта сомневается в своем физическом состоянии, а после — больше всего рад, что оно не ухудшилось. И только теперь, многое припоминая, я понял, что свое недомогание он скрывал от окружающих. Поэтому он оставил концертную деятельность и довольствовался отдельными выступлениями. Были запланированы они и в США, но, увы, силы его убывали. Приветливость и юмор Буси тоже мешали догадаться, что он тяжело болен.

Несмотря на медленное угасание, он постоянно думал о других. Делать добро было для него такой же потребностью, как спать, есть, играть. Главной его заботой стало не устройство людей, ибо это зависело лишь от появления таковых, а отправка в Союз посылок и лекарств. Помню, еще в СССР Арнольд Каштан рассказывал мне о женщине из мастерских Большого театра. Получив посылку от Буси, она так растрогалась, что плакала, как ребенок. Но самым трудным была отправка в Союз лекарств. Почему?

1. Лекарства покупались не через больничную кассу, следовательно, были очень дороги.

2. В СССР существует закон, запрещающий посылать лекарства по почте. Закон правильный, я бы сказал, мудрый, ведь начались бы спекуляция и жульничество.

3. Значит, отправить в Россию лекарство можно только через гастролирующих музыкантов. К примеру, Гилельс в Западном Берлине записывал пластинки. Буся ездил туда. Гилельс всегда соглашался.

Во Франкфурте, Мюнхене или другом городе, а может, в Голландии или Бельгии играет оркестр, а иногда солист из СССР. Лекарство требуется срочно. Разумеется, Буся уже там. Повторяю, лекарства здесь очень дорогие. Но часто поездка туда и обратно обходилась еще намного дороже. А затраченное время и переносы уроков с учениками? Такое невозможно без согласия жены и взрослых детей. Но они не только не возражали, а участвовали на равных.

Через семь-восемь месяцев после приезда в Германию я оказался устроенным лучше, чем мог предполагать. И тогда он взял меня в оборот. Когда дело касалось общих знакомых, Буся говорил: «Тому мы на пару пошлем костюм, а тому срочно отправим лекарство. Завтра в Мюнхене будет Госоркестр, нельзя упускать такой случай». И так далее... Он даже не думал, что можно как-то иначе.

Я знал Бусю с 1934 года. На моих глазах прошла его жизнь со всеми зигзагами. Вряд ли кто возразит мне, если я скажу, что одним из важнейших событий в его жизни была женитьба на Ирине Николаевне Добротиной. Умная, волевая женщина, отличная скрипачка, она как никто понимала Бусю и помогала ему. Хозяйка их удивительно гостеприимного дома в Ганновере, Ирина Николаевна полностью поддерживала его в стремлении делать добро людям. Другим событием, не менее важным, было решение об эмиграции. Все знавшие Бусю в Европе и слушавшие его знатоки говорили, что, появившись он здесь хотя бы лет на десять раньше, при нормальном самочувствии, все было бы совершенно в ином свете. Однако на Западе Буся и в его возрасте, и при ухудшающемся здоровье получил давно заслуженное им имя выдающегося музыканта и уважаемого профессора.

Таким был Борис Гольдштейн. Наш Буся.

Большое сердце. Большой скрипач...

## ЭПИЛОГ

Для меня письма всегда были одной из принудительных обязанностей. А эмиграция и

эмигранты казались экзотикой. Мог ли я подумать, что сяду когда-нибудь писать что-то вроде книги? Или представить себя эмигрантом — человеком, совершившим величайший морально-политический грех, падение? А затем музыкантом, ищущим работу, играющим пробы в Иерусалиме, Тель-Авиве, Цфате, а позже в Ганновере и Гамбурге? А еще позже — пианистом, концертирующим в городах Германии, Швеции, Испании? Попробовать разобраться в этом — значит снова сесть за стол и начать... Хватит! Только не это!

Да, я уехал из Советского Союза. Мне было уже под шестьдесят. (Лучше позже, чем никогда.) Но прожитое осталось во мне, и оно мне очень дорого. Дорого потому, что я имел счастье близко знать замечательных людей. Таких встреч и друзей у меня больше не будет. И не из-за возраста — из-за их неповторимости. Одним из них, самых дорогих, остался Александр Борисович Гольденвейзер.

Если я писал о Шебалине и Свешникове, то только в продолжение моего рассказа о Гольденвейзере. Хотелось сравнить. С другой стороны, я не мог не писать о директорах Московской консерватории — поборниках новых идей Сталина, — ибо они свели в могилу дорогих и любимых мною Григория Романовича Гинзбурга (моего учителя) и Яшу Флиера (моего друга), встреча с которыми для меня — дар судьбы. И если Григорий Коган, в отличие от них, к счастью, дожил до старости, то только потому, что был вне консерватории. Нет худа без добра. Я подумал о том, что мало написал о неповторимом Гилельсе. Мы встречались еще до его появления в Москве. О Рихтере, с которым, начиная с его приезда в Москву в 1937 году, мы были на одном курсе. В годы нашей учебы иллюстрации по истории музыки и анализу форм обычно играл Слава Рихтер. Все это читалось им с листа и звучало просто захватывающе. Часто раздавались аплодисменты. Возникла атмосфера концерта. Я заметил, что впервые исполняемое он играл более увлеченно, чем произведения, над которыми работал. Партитуры он играл так же феноменально, как изложение для фортепиано. Был он прост, обаятелен. В нем были детская застенчивость и поразительная скромность. О себе он никогда не говорил и вообще нисколько не отличался от остальных студентов.

Курс наш оказался на редкость дружным. Мы вместе проводили время, отмечали праздники в своем кругу, среди однокашников.

Пришла война. Курс рассыпался. Мы получили дипломы в разное время. Но осталась дружба. Остались встречи. Они стали обязательны и святы. Собираясь вместе, мы были счастливы: мы как бы молодели и смеялись взахлеб, как дети.

Для меня наша встреча за месяц до моего выезда стала прощанием. Собрались мы тогда на новой квартире Рихтера. Он стоял у двери в цилиндре и каждого встречал пистолетным выстрелом. Это был салют. Ко мне подошел Леня Живов. Сказал: «Как ты можешь уехать, оставив то дорогое, что мы имеем?» Стало тяжело до слез. Я не мог ответить.

Встречи продолжаются. Почта приносит письма и фото. Идет время, уходят люди, стареют лица. Грустно... Недавно пришло приветствие от Славы Рихтера, старого «одноклавишника» нашего удивительного курса...

Я думал обо всем этом, завершая записи, и мне стало ясно, что писать воспоминания приятно. Иногда, погружаясь в прошлое, как бы заново познаешь давно известное. Но, чтобы писать, нужно уйти из окружающего мира, забыть обо всем остальном. Я же, к счастью, обязан работать. Может, напишу продолжение в другой раз, а может, и нет...

P.S. За время между окончанием книги и подготовкой ее к печати произошли события, опередившие самые смелые мысли. В пору Брежнева я уезжал из России, а затем здесь, в ФРГ, писал эту книгу. Пришли другие времена. Но что было, то было.

Хочется сказать о новом, имеющем прямое отношение к данной книге. В феврале 1989 года по московскому радио прошла большая, сделанная умело, с любовью, передача, посвященная творчеству уехавшего за рубеж Бориса Гольдштейна. Тепло вспоминал Бусю И. С. Козловский. Когда ему сказали, что Буся умер, его речь оборвалась. Почувствовался шок... Прозвучала запись их совместного исполнения. Затем я услышал Ноктюрн Скрябина. Играл Буся. Думаю, что это одна из вершин исполнительского искусства — когда зачарованно слушаешь, считая, что ничего лучшего быть не может...

Похоже, что жрецы «науки всех наук», или «служители культа», как их называли, —

преподаватели марксизма-ленинизма — приобщились к другим профессиям. К счастью для студенчества России — не надо больше изучать марксизм...

Сегодня я смотрю на Россию с чувством оптимизма. Есть трудности, будут новые трудности, но никогда не будет культа личности, диктатуры, того кошмара, который был. Приходят новые поколения, и цари-диктаторы останутся для них историей. В этом залог светлого будущего. Для страны и ее народа это дает основание (возможность) с оптимизмом смотреть в будущее.

## ДОПОЛНЕНИЯ

С самого начала советской власти ее основы были тверды и незыблемы. Репрессии и материальные затруднения, вечная нехватка всего необходимого увеличивались или уменьшались, но никогда не прекращались. Видоизменялась организационная структура и тематика пропаганды. То, что установилось к семидесятым годам, времени нашей эмиграции, утверждалось постепенно, в течение ряда лет. И поэтому многое сегодня может показаться непонятным и даже неправдоподобным.

К примеру, в тридцатых годах, во время голода на Украине, освещенное окно означало, что там живет семья сотрудника ГПУ (как их тогда называли). Его начальник считался чуть ли не хозяином города. За ним следовал, начальник гарнизона. Его фамилию знали все. Всесильного слова «обком» тогда не существовало. Первым лицом на Украине был Г. И. Петровский, председатель ВуЦИКа (Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет). На наших глазах этот орган постепенно превратился в церемониальный Верховный Совет. Портреты Петровского и Калинина (председателя ЦИК СССР) после портретов Ленина встречались чаще всего.

С двадцатых годов стали все больше и больше попадаться портреты Сталина. У него была отталкивающая физиономия. В те годы молодой Сталин — жгучий брюнет с острыми усами в белом френче — напоминал чистильщика обуви. И его называли «чистильщик». В городе Екатеринославе [ныне Днепропетровск] их было много. Они сидели по углам улиц. Позже, страшась лишнего слова, мы старались об этом не вспоминать.

Ужас: в том, что шутка оказалась пророческой. «Чистки» превратились в профессию Сталина.

С первых же дней советской власти началась вакханалия с переименованием городов и улиц. Иногда это напоминало чехарду: когда вместо новых названий давались еще новее. Городов, которые переименовывались по два, а то и по три раза, десятки. Такая система сделала возможным появление столь необъяснимых вещей, как присвоение в двадцатых годах Московской консерватории имени Феликса Кона, в тридцатых — имени Кирова Ленинградскому театру оперы и балета, как возникновение в Москве струнного квартета имени Первого Калийного

комбината и т. д.

В конце двадцатых годов городу Екатеринославу была оказана высокая честь, и он стал носить имя Петровского — бывшего председателя большевистской фракции в Государственной думе и одного из вождей Украины тех времен. Затем все они пошли в «мясорубку». Исчез и Петровский. Но город и завод носят его имя по сей день.

В начале тридцатых годов появились обкомы. В Днепропетровске постоянно повторяли: секретарь обкома товарищ Хатаевич и председатель облисполкома товарищ Гаврилов. По мере развертывания социализма обком превратился в полного хозяина, а его первый секретарь — в князя. Номенклатурные чины, перемещения, пряники и вообще все важное шло только через обком. Облисполкому остались уличные фонари, дворники и т. п.

До революции на территории будущей периферии работали первоклассные музыканты — ученики братьев Рубинштейн, Ауэра, Давыдова и других. Но появилась московская, ленинградская прописка, и молодежь цеплялась за что угодно, лишь бы не потерять ее. Многие деградировали, теряли квалификацию, но не уезжали из столицы, а на периферии все глохло. Это происходило не сразу, а постепенно. До революции в отдаленных местах России проходили концерты, о которых сегодня такие большие города, как Харьков, Горький и им

подобные, могут только мечтать. Легендарный пианист Гофман объехал всю страну, играя даже в глухомани. В мои детские годы в Екатеринославе давали концерты пианисты Петри и Цекки, скрипач Сигети, виолончелист Майнарди. Сейчас исполнители такого класса играют только в Москве, Ленинграде и республиканских столицах.

Мой отец был оркестровый музыкант. В 1912 году он играл симфонический сезон в Керчи. Разве сейчас в Керчи знают, что такое симфонический оркестр? Может быть, для отчетности раз в год приезжает оркестр Крымской филармонии. А какие концерты были в городе Феодосии! Теперь это — дыра.

Недалеко от Донецка есть город Славянск. Там когда-то жизнь была ключом. Устраивались интересные летние симфонические сезоны. Приглашались видные музыканты.

В один из сезонов приехал прекрасный, опытный виолончелист Леопольд Ростропович. Возле него всегда сидел малыш лет десяти с виолончелью, и отец все время следил, чтобы он не выпадал из группы. Малыша звали Слава. Однажды после войны в Москве я с моим другом зашел в кафе-мороженое «Арктика» напротив Центрального телеграфа. К нам подошел очень худой юноша и спросил: «Дядя Боря, вы меня узнаете?» Это был Мстислав.

Славянск теперь — тоже дыра. Я сам это видел. Один ли Славянск? Мой учитель А. Б. Гольденвейзер ситуацию знал. Много говорил об этом среди близких и на собраниях — как директор. Он убеждал студентов ехать на периферию, в интересах их музыкального роста и развития музыкальной культуры страны. Я имею право говорить об этом, ибо у меня была двухкомнатная квартира возле консерватории. Но я хотел быть музыкантом и уехал из Москвы без драматических прощаний. Я никогда не жалел об этом. Работая в Донецке преподавателем в училище и солистом филармонии, я чувствовал себя нужным человеком, у меня были творческие замыслы, и я постоянно работал над собой. Прозябая в Москве, я бы не смог эмигрировать. Старик однажды сказал мне: «У тебя два пути, третьего — нет. Или будешь рабом московской прописки, или музыкантом».

Будущее показало, насколько он был прав.

Сейчас наиболее энергичные из музыкальной молодежи стараются получить направление в вуз на периферии, ибо это единственный реальный шанс добиться звания доцента и т. д.

Что касается музыкантов с «мундиром под фракком», то они были очень заметны. Часто из-за несоответствия дарования с престижем, количеством поездок за рубеж и покупательной способностью там. В стране государственного антисемитизма еврей получает привилегии в лошадиных дозах, и никто не считает это пособием по «инвалидности пятой группы». В те годы «мундир под фракком» не был исключением. Его носили под халатами врачей, ученых и т. д.

Легче всего судить. Но ведь каждый вызываемый туда знал, что после слова «нет» он выйдет, потеряв все надежды, мечты... Это в лучшем случае. Однако были пассивные и активные, лезущие из кожи вон, чтобы оправдать «высокое доверие».

Что касается «идеологической чистоты», то я значительно преуменьшил ее «охват». Виденное и пережитое мною происходило в Московской консерватории, где все шло только по линии махрового антисемитизма. Проходившая летом 1943 года реформа Шебакина имела одно основание — антисемитизм. Но педагоги-евреи, еще до революции крестившиеся и работавшие в консерватории, как, например, профессор Л. М. Цейтлин, были оставлены. Выгнали только евреев, появившихся в консерватории уже при советской власти. «Гибкость» коммунизма — чудо века.

Уточню о Столярском. Как я выяснил, на его могиле в городе Свердловске Давид Ойстрах установил памятник. К слову, Гилельс установил памятник на могиле Б. М. Рейнбальд в Одессе.

Недавно при одесской десятилетке имени Столярского открыли комнату-музей. Однако когда этому музею родственники Рейнбальд предложили интересные материалы, с ними даже не стали разговаривать. Данных о Рейнбальд в музее нет. Хотя все знают, что только Столярский и Рейнбальд выходили за рамки республики и считались одними из самых выдающихся педагогов в стране. Те, кто жил на Украине, принимают это как должное. Там часто встречались и, я уверен, встречаются руководители, сочетающие в себе два чувства:

беспрекословное повиновение начальству и животный антисемитизм.

Вспоминаю Донецк. В одной из музыкальных школ появился новый директор. Он начал с того, что снял со стены портрет Давида Ойстраха. Он его, беднягу, раздражал... Комментарии излишни.

Если мною допущены неточности в датах (в чем я сомневаюсь), так не более чем на год-два.

А желание рассказать только о виденном и пережитом лично мной оказалось невыполнимым: невольно то, что говорилось вокруг меня, дополняло мой собственный опыт. Уйти от людской молвы невозможно. Неожиданно для себя я понял, что она неотделима от времени и словно бы является его частью. Ей можно верить: дыма без огня не бывает...









Among the  
Prayer of  
Mabasa

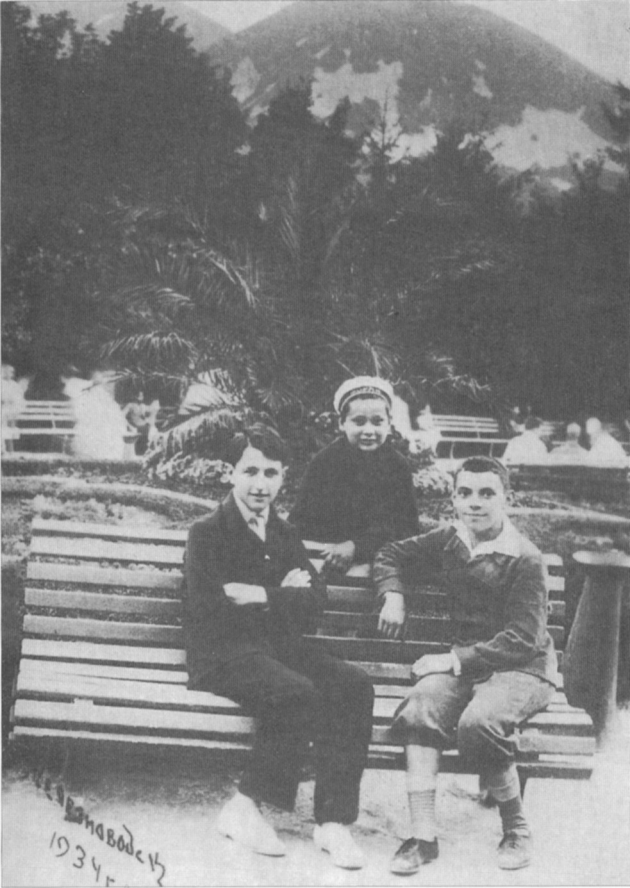
12/43











1934  
10345



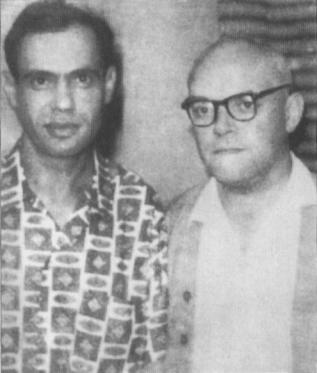












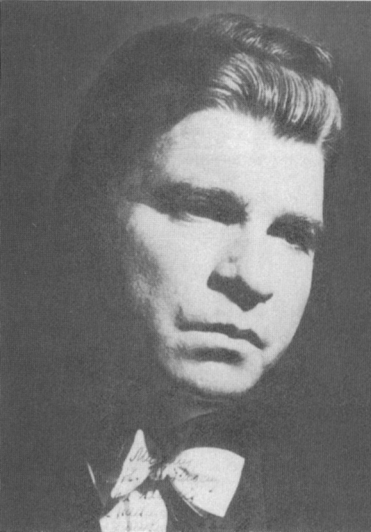


Даровану  
Н. - Ероху  
и Анне  
Тарасу  
на память  
Д. Ероху

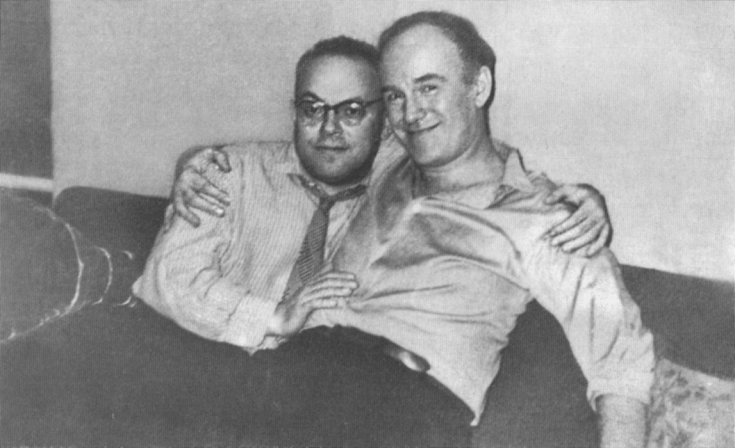








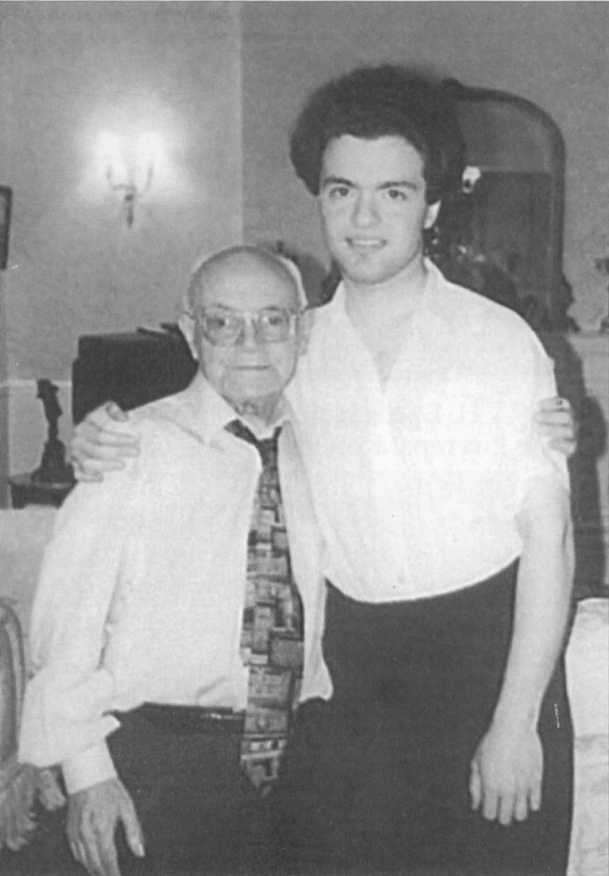






Милый Нюма!

Цию мои добрые новогодние  
пожелания тебе и твоей  
жене. Будь здоров и благополучен  
и опять в Италию (из-за маленького  
книжечка) и первого января собираюсь  
играть. Недавно собирались у меня  
всеми куреом (только 10 человек...!!)  
было очень мило. <sup>GRADO</sup> Меня превозноси  
себя в блеске юмора. Жаль, что Нюма  
не было... Цию сердечный привет  
твоей Слава



1. С сыном Мариком, виновником моей эмиграции. 1977
2. П. С. Столярский с учениками во время Первого Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве. 1933  
Стоят (*слева направо*): Давид Ойстрах, Буся Гольдштейн  
Сидят (*слева направо*): Лиза Гилельс, П. С. Столярский, Миша Фихтенгольц
3. А. Б. Гольденвейзер
4. Особая детская группа при Московской консерватории. А. Б. Гольденвейзер (*в центре*), Наум Бродский (*стоит, первый слева*), Роза Тамаркина (*стоит, четвертая справа*), Арнольд Каплан (*сидит, второй слева*), Марина Козолупова (*сидит, пятая справа*).  
Квартира А. Б. Гольденвейзера. 1934
5. А. Б. Гольденвейзер и Г. Гинзбург
6. Григорий Гинзбург
7. Г. М. Коган
8. На курорте в Железноводске. 1934  
Слева направо: Арнольд Каплан, Борис Гольдштейн и Наум Бродский
9. С Арнольдом Капланом через 40 лет. 1970-е гг.
10. Н. Бродский. Карикатуры А. Каплана
11. С Борисом Гольдштейном через 50 лет. 1980-е гг.
12. Студенты I курса фортепианного факультета и преподаватели Московской консерватории. 1937  
А. Каплан и Н. Бродский (*внизу, в центре*), С. Рихтер (*во втором ряду сверху, в центре*), Л. Живов, доцент консерватории (*справа, в кресле*)
13. Встреча пианистов-однокурсников. С. Рихтер (*в центре*), Н. Бродский (*второй слева*).  
Конец 1950-х - начало 1960-х гг.
14. Леонид Коган и Наум Бродский. На Рижском взморье. Конец 1950-х гг.
15. Яков Флиер. Начало 1970-х гг.
16. «Теперь вы поняли, почему Советская Армия победила?..» Наум Бродский в 1944 году
17. Б. М. Рейнгалд и 16-летний Э. Гилельс во время Первого Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. 1933
18. Э. Гилельс. 1960-е гг.
19. Н. Бродский и С. Рихтер. В квартире Рихтера. Конец 1950-х — начало 1960-х гг.
20. Н. Бродский и Э. Гилельс. Германия. 1978
21. Новогоднее поздравление Святослава Рихтера
22. Наум Бродский и Евгений Кисин. Лондон. 1990-е гг.